Як. Окунев

По Китайско-Восточной дороге

Работник просвещения

1929

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Я. М. Окунева относится к поздним работам писателя и ближе всего подходит по жанру к этнографическим публикациям. Автор описывает свое путешествие по Китайско-Восточной железной дороге в конце 20-х гг., когда она находилась в совместном управлении СССР и Китая, непосредственно перед началом конфликта на КВЖД в 1929 г. и захватом железной дороги войсками Чжан Сюэляна. Хорошо показана роль, которую играла железная дорога в экономическом и культурном развитии Китая.

Сохранена орфография оригинала, в частности, отсутствие твердых знаков.

В книгу добавлена вступительная статья "Китайско-Восточная железная дорога и конфликт 1929 г.", написанная специально для электронной книги. В печатном издании отсутствовала.

Для оформления подписей использовались стили, поэтому для чтения лучше пользоваться CR3.

- Яков Окунев ПО КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ДОРОГЕ
  - V_E Китайско-Восточная железная дорога и конфликт 1929 г.
  - I. ЗОЛОТОЙ РОГ
  - II. ПО ПУТИ В ХАРБИН
  - III. ЛИЦО ХАРБИНА
  - IV. ПО ПУТИ НА ВОСТОК
  - V. ОТ ХАРБИНА ДО ПОГРАНИЧНОЙ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

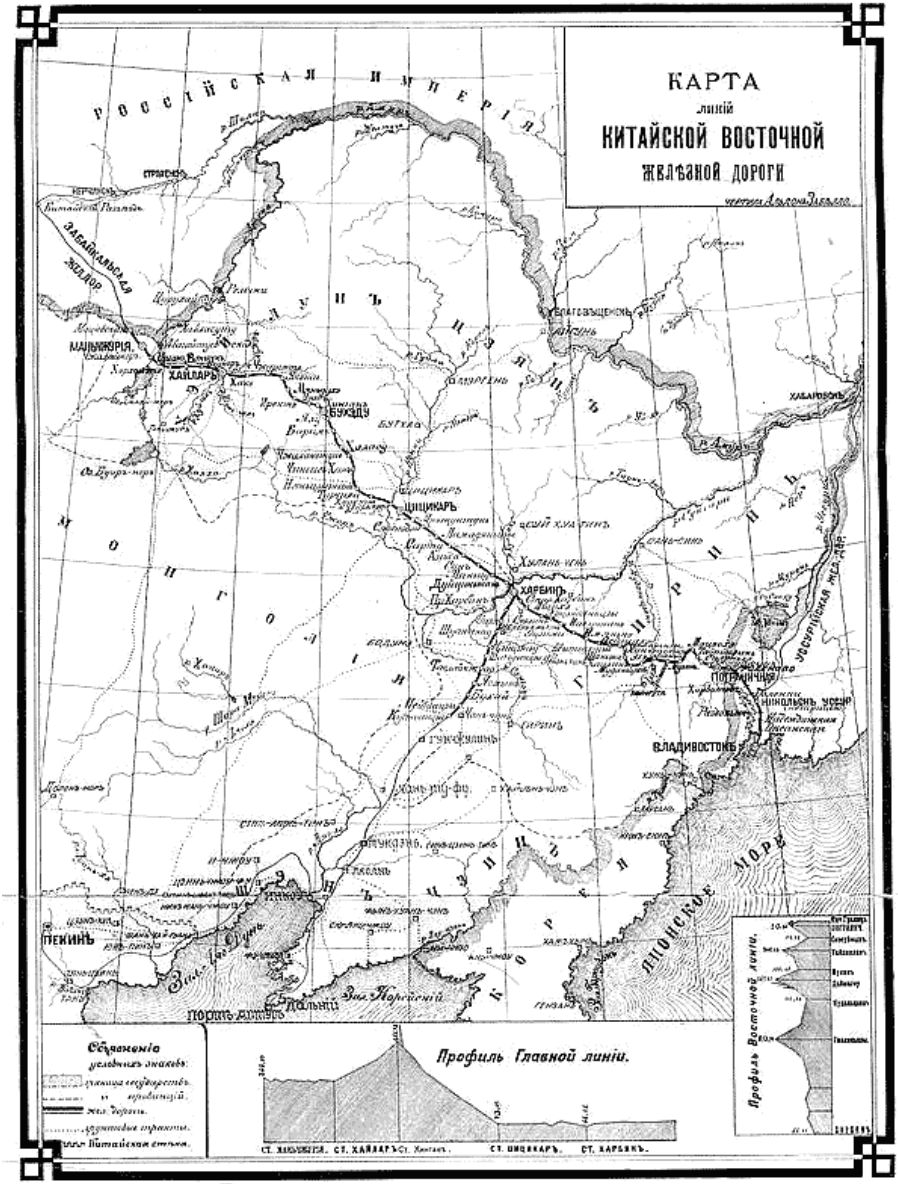
    - 16
    - 17
- comments
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12

Яков Окунев ПО КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ДОРОГЕ

V_E Китайско-Восточная железная дорога и конфликт 1929 г.

Конец XIX в. характеризуется началом империалистической стадии развития капитализма, одним из признаков выступает активизация борьбы за передел мира, захват новых рынков сырья и сбыта товаров. Одним из основных направлений колониальной экспансии в это время становятся Корея и Китай, на территории которых столкнулись интересы империалистических держав — Англии, США, Японии и России, в которой капиталистические отношения, благодаря поддержке государственной власти, развивались быстрыми темпами. Не имея собственных внешних колоний, российская буржуазия обращает внимание на собственные дальневосточные территории, имеющие огромные природные ресурсы и выход в Тихий океан, а также сопредельные территории Китая, Кореи и Монголии.

Угроза, возникшая для слаборазвитых дальневосточных территорий России в связи с ростом активности иностранного капитала в Северо-восточном Китае (Маньчжурия) и требования российского капитала заставили правительство принять ряд мер по укреплению своих позиций на Дальнем Востоке и в Китае. Одним из таких шагов стало строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, начавшееся в 1891 г. Магистраль должна была соединить центральные районы страны с Дальним Востоком и дойти до Владивостока. При этом наиболее короткий путь можно было проложить при условии, что часть дороги пройдет по территории Северо-восточного Китая — через Манчжурию. Одновременно предполагалось и строительство параллельной, более длинной, ветки Транссибирской магистрали, которая должна была пройти по российской территории вдоль течения р. Амур (строительство активизировалось после поражения России в русско-японской войне и завершилось в 1916 г.).



Используя благоприятную для России внешнеполитическую конъюнктуру (частичный пересмотр Симоносекского мирного договора) министр иностранных дел А. Б. Лобанов-Ростовский и министр финансов С. Ю. Витте со стороны России и чрезвычайный посол Ли Хунчжан со стороны Китая подписали в 1896 г. секретный договор о союзе и постройке КВЖД. Права на сооружение и эксплуатацию дороги предоставлялись Русско-Китайскому банку, в котором ключевую роль играло царское правительство. Согласно заключенному несколько месяцев спустя Контракту на постройку и эксплуатацию Китайско-Восточной

железной дороги, создавалось специальное акционерное общество, участниками которого могли быть только подданные Китая или России. Россия получала железную дорогу на правах концессии сроком 80 лет с начала эксплуатации, при этом китайское правительство могло выкупить дорогу досрочно через 36 лет после начала движения поездов при условии полного возмещения всех затрат на строительство и выплаты всех долгов дороги с процентами. Китай, помимо перспективы перехода дороги под контроль Китайских властей через 80 лет, получал и некоторые сиюминутные выгоды, что было важно для китайского правительства в обстановке усиления финансовой зависимости от других стран.

Заключенное соглашение стало базой для значительного укрепления позиций России на Дальнем Востоке и в Китае, но одновременно вызвало резкое недовольство других империалистических держав и стало источником ряда международных конфликтов, в том числе русско-японской войны 1904-1905 г. и конфликта 1929 г. Уже в ходе строительства и в начале XX в., во время периодически происходивших восстаний китайского населения, разрушались железнодорожные пути и станционные строения, истреблялись строительные партии. Особенно сильные разрушения были произведены в ходе восстания ихэтуаней (боксерского восстания), направленного против засилия иностранцев, деятельности иностранных религиозных проповедников и тяжелого экономического положения населения. Восстание было подавлено силами войск России, Великобритании, США, Франции, Германии, Японии.

Тем не менее, построенная железная дорога стала мощным фактором экономического и культурного развития Манчжурии.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в России и последовавшие затем гражданская война и интервенция привели к тому, что территория вдоль КВЖД стала местом концентрации белой эмиграции, значительно способствовавшей дестабилизации обстановки после восстановления контроля советского правительства над линией железной дороги. Ситуация осложнялась неустойчивостью, внутриполитического положения в Китае, фактическим отсутствием единого управления страной.

После подавления восстания ихэтуаней революционное движение продолжало развиваться, поскольку сохранили свою силу все факторы, вызывавшие недовольство китайского населения. В ходе революционного процесса на юге сформировалось временное революционное правительство во главе с избранным временным президентом республики Сунь Ят-

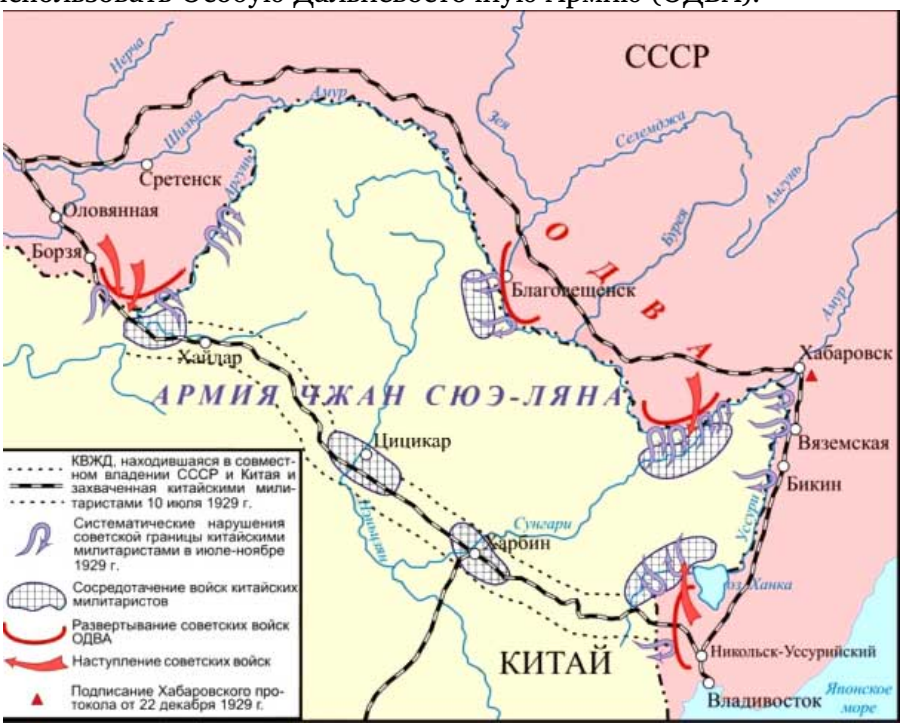
сеном. На севере страны сохранялась власть цинской династии правительство которой возглавин Юань Ши-кай. После отречения цинской династии он становится президентом Китая, сменив Сунь Ят-сена. Антинациональная политика Юань Ши-кая привела к новому подъему революционного движения, в ходе которого власть в северных районах оказалась в руках генералов-милитаристов, а на юге — в руках партии Гоминьдан во главе с Сунь Ят-сеном, который, под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, предпринял ряд шагов по сближению с коммунистической партией Китая. Во второй половине 20-х гг. Гоминьдан и возглавлявший его после смерти Сунь Ят-сена — Чан-Кай-ши заняли антисоветскую и антикоммунистическую позицию, одним из проявлений которой стал захват КВЖД в 1929.

Отсутствие прочной власти в северных районах Китая привело росту долгов китайской стороны за перевозку войск и других грузов по КВЖД. После отказа администрации дороги бесплатно перевозить грузы военных властей, начался захват сооружений и поездов китайской стороной, аресты советских граждан, работающих на территории дороги и другие провокационные действия. Некоторое улучшение ситуации удалось обеспечить благодаря твердой позиции СССР и подписанию соглашения о наведении порядка на КВЖД 24 января 1926 г. Однако антисоветская позиция, занятая Чан Кай-ши, способствовала дальнейшему усилению напряженности в районе железной дороги. Результатом ее стал захват КВЖД войсками Чжан Сюэляна, арест более 200 советских железнодорожников, закрытие представительств советских наркоматов, профсоюзов, кооперативов разрыв дипломатических отношений и военный конфликт 1929 г.

Поощряя действия манчужрских милитаристов, Чан Кай-ши считал, что СССР не пойдет на использование военной силы для решения конфликта: «Если Советская Россия примет решение об использовании военной силы, то это серьёзно осложнит её международное положение, и по этой причине такие действия маловероятны. Развязывание войны потребует мобилизации всех ресурсов России, и это осложнит ситуацию внутри страны — и это вторая причина, вследствие которой она вряд ли решится на такой шаг. Если Россия всё же пошлет войска в Маньчжурию, то Япония вряд ли будет спокойно наблюдать за этим, отправит свою армию в Северную Маньчжурию, и в итоге мы будем иметь вторую русско-японскую войну»[1]. В соответствии с этой установкой, все действия СССР, направленные на восстановление порядка и соблюдение заключенных договоров, оказывались

бесплодными. Продолжался захват сооружений, провокации против советских граждан и организаций.

В такой обстановке, особенно после срыва переговоров инициированных китайской стороной и отказа министра иностранных дел Мукденского правительства Цай Юн-чжэна от своих собственных предложений по урегулированию конфликта, советская сторона активизировала мероприятия, необходимые для решения проблемы военным путем, тем более, что при, как минимум, попустительстве китайских властей, происходила и активизация белогвардейских банд, проникавших на советскую территорию с территории Манчжурии. Для этого предполагалось использовать Особую Дальневосточную Армию (ОДВА).



Военные действия начались 12 октября (Сунгарийская наступательная операция). Они происходили на территории Китая и несмотря на численный перевес китайских войск, были успешными для Красной армии, располагавшей более совершенным вооружением и организацией управления войсками. Командующий ОДВА В. К. Блюхер, долгое время работал, по приглашению Сунь Ят-сена, в качестве военного советника в Китае, а в 1924-1927 гг., до перехода Чан Кай-ши на антикоммунистические и антисоветские позиции, занимал при нем пост главного военного советника.

Уже 19 ноября поверенный по иностранным делам Цай Юньшэн направил через бывших работников советского консульства

предложение о начале мирных переговоров.

Окончательное завершение конфликта произошло 22 декабря 1929 г. в ходе подписания Хабаровского протокола, которым восстанавливался статус железной дороги как совместного советско-китайского предприятия.

Обстановка, сложившаяся в зоне железной дороги перед началом конфликта показана в книге Я. Окунева. В ней показана жизнь китайского населения, роль железной дороги в экономическом и культурном развитии Китая.

I. ЗОЛОТОЙ РОГ

Манчжурский боб. Китайцы во Владивостокской гавани. Дешевая дорога. Растерянные дельцы.

Во Владивостоке, в Голубой бухте Золотого Рога, грузятся океанские гиганты-пароходы. На пристани Эгершельд гремят лебедки, грохочут стальные ленты конвейеров. Вдоль пристани целый город каменных цистерн и длинных зданий из камня, бетона и гофрированного железа.

В этом городе день и ночь стучат моторы, стоит туман едкой пыли. Здесь бесперебойно работают сортировочные машины — очищают китайский боб. По под'ездным железнодорожным путям бегут длинные составы красных товарных вагонов, нагруженных мешками бобов.

Китайцы-грузчики, с рогульками, особыми приспособлениями для носки тяжестей на спине, взваливают у вагонов огромные мешки на рогульки, пробегают мимо надсмотрщиков, которые проворно, не останавливая грузчика, протыкают мешок железным «щупом» — инструментом в виде штыка с глубокой выемкой, захватывающей из пропоротого мешка пробу боба.

Грузчики сваливают мешки на бегущие конвейеры. Пасть сортировочной проглатывает мешок за мешком. Там, внутри, в желтом тумане, бобы из мешков струятся в огромные воронки. Другая струя, очищенная от пыли и отбросов, бежит по желобам в новые мешки, которые выносятся на лентах конвейеров обратно на пристань, на спины других грузчиков, к лебедкам у пароходов.

— Майна! Вира! — доносится с пароходов морская команда под'ема и спуска груза.

Лебедки подхватывают по полусотне мешков, поднимают их над бортом вышиной в шесть метров и опускают в колодец трюма. Там, в глубине, суетятся маленькие фигурки, которые кажутся сверху приплюснутыми. Это опять китайцы. Они укладывают мешки в брюхе океанского гиганта.

Везде китайцы. Китайцы грузят. Китайцы сортируют. Китайцы гонят вагонетки по рельсам. Китаец, представитель торговой фирмы из Харбина или Цицикара, в огромных роговых очках на плоском, приплюснутом носу, бегает вдоль вагонов с карандашом за ухом и с цветными накладными, зажатыми в желто-коричневой руке.

Китайскими бобами на пристани Эгершельд грузятся пароходы всех стран. Вот развевается на флагштоке, на носу пятиэтажного чудовища, звездный флаг Соединенных Штатов Америки. На черном фоне борта выведено золотом — «Рузвельт».

За ним плещется на ветре яркое полотнище с изображением солнца, раскинувшего желтые лучи. Это японский грузовой пароход «Осака». Дальше дымится густая роща труб — немецкие, английские, голландские, французские суда. Бирюзовая даль бухты затянута дымной кисеей. Снуют юркие катера и моторные лодки пограничного дозора.

В гавани Эгершельд бобы из Китая — главный груз. Они идут из Манчжурии по Китайско-Восточной железной дороге во Владивостокский порт. Закупленный иностранными фирмами боб после очистки и сортировки перегружается в эти огромные суда, которые доставляют его во все порты мира.

Китайско-Восточная железная дорога — самый дешевый путь транзита (перевозки) бобов за границу. Можно еще бобы грузить в Шанхае, но иностранные фирмы избегают делать это, потому что подвоз груза к шанхайскому порту стоит значительно дороже, чем перевозка по Китайско-Восточной железной дороге. Все станции от Харбина до манчжурской границы завалены мешками с бобами. Отовсюду с полей Манчжурии тянутся обозы двухколесных арб и караваны верблюдов, нагруженные бобовым жмыхом и зерном. В 1927 году через Владивостокский порт прошло свыше миллиона тонн бобов.

Теперь, после захвата Китайско-Восточной железной дороги, порт замер. Остановились сортировочные машины, замерли конвейеры и лебедки, разбрелись китайцы-грузчики. Пустая бухта рябится золотом яркого солнца. Не дымятся пароходы, не слышно команды «майна», «вира». Все заглохло.

Во Владивостоке, на стыке двух самых шумных улиц — Ленинской, которую продолжают по старой памяти называть Светлановской, и Вокзальной — находится ресторан «Золотой Рог». Когда-то в этом ресторане собирались дельцы всех стран. Здесь, под звон стаканов и музыку с эстрады, заключались сделки на манчжурский боб, жмых, чай, хлопок, опиум. По привычке здесь и сейчас собираются дельцы. Юркий кругленький японец и сухой длинный англичанин, оба с сигарами, сидят за столиком, за стаканами стынущего кофе. Обмениваются короткими фразами по-английски. У них растерянные лица.

— Боб застрял, — говорит англичанин.

— Боб застрял, — подтверждает японец.

Дельцы удручены. Дешевый транзит бобов, этого ценнейшего продукта, без порта Эгершельд немыслим. Более близкого, дешевого и удобного порта для вывоза из Манчжурии нет. Удар» китайских захватчиков по Китайско-Восточной железной дороге — это удар по карману мировой торговли с Манчжурией, Баргой, внутренней Монголией.

Круглые бетонные и железные башни-цистерны в гавани Эгершельд перекачивали сотни тысяч тонн бобового масла в наливные трюмы грузовых пароходов Европы. Платформы-вагоны несли из Манчжурии горы бобового жмыха, который является самым дешевым и лучшим удобрением. Но не только бобы шли по К.-В. ж. д. к Эгершельду. Чай, хлопок, китайский шелк, манчжурский дуб, пушнина — все это Манчжурия грузила для всего мира в Золотом Роге. А Европа, Америка, Япония выгружали здесь свои товары, которые переправлялись по К.-В. ж. д., самой ближней и дешевой дороге, в Манчжурию и Баргу.

II. ПО ПУТИ В ХАРБИН

Манчжурский поезд. Курильщики опиума. Страхи китайца Ли-Тина. По Бурято-Монголии и Барге. Хинганская петля. Курорт у ног Хингана. Ограбленный крестьянин.

У станции Пограничной, в нескольких часах езды о г. Никольска-Уссурийского, Уссурийская железная дорога переходит в К.-В. ж. д. У станции Манчжурия Китайско-Восточная железная дорога упирается другим своим концом в Забайкальскую дорогу, рельсы которой бегут через Карымскую на Читу. Почти две тысячи километров поезд мчится от ст. Манчжурия до Пограничной через Бурято-Монголию и Даурию, через сопки, горные кряжи Хингана и желтые степи, ныряя в туннели, делая петли, перелетая через висячие мосты, через пропасти.

Со станции Карымской манчжурский поезд отошел переполненным до отказа. В жестких вагонах — не продохнуть. В них набились китайцы и корейцы. Головы и ноги свешиваются даже с укладок для багажа.

Кореянки, в белом с ног до головы, с детьми, плотно упакованными за их спиной, садятся прямо на заплеванный пол между скамейками. С ребенком за спиной кореянка представляет собою нечто вроде мотка. На ней намотаны белые полотнища по пять-шесть метров длиной, которыми, как свивальником, стянуты вместе ребенок и мать. Играет ли, плачет ли, спит ли маленький кореенок за спиной мать не обращает на него никакого внимания. С своим живым горбом она ходит, спит, ест, толчется в толпе пассажиров и только изредка разматывает, вертясь, свои бесконечные свивальники, чтобы покормить ребенка.

Корейцы, тоже в белом, без перерыва курят трубки с длинным, тонким мундштуком и крошечной чашечкой для табака или опиума. В одной кучке они, заслонив спинами лампочку, чтобы не увидал кондуктор, накаливают на игле над огнем комочек опиума и, положив его в трубку, затягиваются ядовитым дымом, сладостно жмуря узкие глаза. Сладковатый, тошный запах опиумного дыма тянется сизой струйкой по вагону.

Китайцы в широченных штанах из синей нанки (китайской бумажной материи), стянутых у щиколотки, в суконных туфлях на войлочной подошве, забрались с своими узлами на верхние места. Там они едят и курят, бросают сверху остатки еды, окурки, шлепаются вниз плевки. Они нисколько не считаются с вывешенными в вагоне правилами и с нижними пассажирами. Те и не ропщут — народ привычный.

В этих вагонах спирает дыхание. Душит запах китайского чеснока, бобового масла, потного, немытого тела. Здесь едет китайская беднота — поденщики, чернорабочие, грузчики. Корейцы и кореянки с семьями едут в Манчжурию на маковые и бобовые плантации. Китайцы отправляются на каменноугольные копи и оловянные рудники, которыми богата западная и южная Манчжурия. Вся эта темная, голодная голытьба питается чесноком и горстью риса.

— Ваша где езди?

Сухой, тонкий китаец сидит на полу. Он поднял голову в кепке и глядит на меня. Из его узких глаз струятся огни живого любопытства. Рука с обглоданным скелетом селедки остановилась на полдороге ко рту.

— Ваша Харбин ходи? — переспрашивает он.

— Моя ходи Харбин, — подтверждаю я на той же тарабарщине.

Только на таком исковерканном наречии можно говорить с ним. Когда я пытался на Дальнем Востоке говорить с китайцами и корейцами, не ломая языка, они с конфузливой улыбкой разводили руками:

— Ай, пу-хо (плохо). Моя ваша не понимай. Мало-мало русска говори.

Любопытство китайца удовлетворено. Он с'едает костяк селедки с головкой и жабрами, облизывает и вытирает пальцы, отполированные жиром и грязью, о полы синей куртки. Тогда, метнув на меня осторожный взгляд, он поднимается и идет к притаившейся кучке курильщиков опиума. Огонь в его глазах разгорается еще сильнее. Жадный голод светится в них. Но он возвращается угасший и разочарованный.

— Твоя кури опиум? — ставлю я вопрос ребром.

— Деньга есть — моя кури, деньга нет — моя нет кури, — отвечает он и горестно хлопает себя по сухим бедрам.

Большинство этой горемычной голытьбы из северных провинций Китая и Манчжурии — курильщики опиума и морфинисты. В Харбине, в тесных лабиринтах китайских дворов, притоны, похожие на берлоги, кишат продавцами опиума. На грязных нарах, на тряпье лежат высохшие до костей курильщики и блаженно сосут трубки. И нередко случается — по утрам полиция натыкается на улице на мешок, в котором завязан согнувшийся в три погибели труп. Это выбросили из притона обкурившегося до смерти горемыку.

— Зачем куришь? Опиум тебя контрами (убьет), — стараюсь я воздействовать на китайца.

Но его глаза тоскуют, сухие щеки запали еще глубже:

— Ваша не понимай, — говорит он, и руки и плечи его дрожат в лихорадочном ознобе. — Моя живи — работай, много работай, кости боли, печенка боли. Моя кури — спи, ничего не боли. Хо! (хорошо). Дай! — протягивает он ко мне дрожащую руку.

Он просит денег, «двася» копеек на горошину опиума. Это мольба жалкого существа, истомленного жаждой хотя бы одной затяжки яда. Его глаза слезятся, все тело содрогается в конвульсиях, желтое лицо делается прозрачно-восковым.

— Капитана, дай.

Этот случай в вагоне четвертого класса Китайско-Восточной железной дороги свел меня с китайским рабочим Ли-Тином, курильщиком опиума, а через него, как по цепочке, с вереницей лиц, привлекательных и безобразных, в лачугах китайской части Харбина.

Я не дал «двася» копеек Ли-Тину, ни гроша не дал я ему на опиум. Правда, он обошелся в конце концов без меня и, накурившись где-то на остановке в уборной, выспался и приободрился. Но я не потерял из-за моей непреклонности расположения Ли-Тина. Он не разжаловал меня даже из «капитала», — чин, который он дал мне в минуту льстивой угодливости.

— Капитана есть купеза (купец)?

— Нет.

— Большевика?

Я не ответил. Ли-Тин принял это за утверждение.

— Ой, пу-хо. Зачем ваша езди в Харбин?

Он рассказал на этом ломаном наречии, что в Харбине много «живи белая капитана», которые «голова твоя руби», что эти белые «капитана» рыщут по китайским кварталам, «лови русска большевика». В его глазах светился ужас загнанного, раздавленного человека, он хлопал себя по костлявым бедрам, ахал и убеждал:

— Бедный люди надо тихо сиди.

Мы мчимся через степи Бурято-Монголии. Ершистые сопки,

сдавившие в каменных складках железнодорожную насыпь, проваливаются назад. Раскрываются широкие дали желтых степей с смутными голубыми очертаниями гор на склоне неба. Там, на горизонте, начинаются предгория мощного Хингана, а здесь равнина, пыльная караванная дорога на Баргу, верблюды, круглые юрты из белой кошмы, стада овец и табуны коней, поднимающие желтую степную пыль, бронзовые пастухи-монголы в лиловых тэрликах (халатах) и островерхих шапках, отороченных мехом.

Поезд бежит навстречу стадам. По дороге идут из дацана (монастыря) ламы с четками — точь в точь католические монахи. В степи припал к подножию белого субургана (могильника) богомолец. Странно видеть в этой дикой степи велосипед и еще удивительнее, что велосипедист — монгол. На боку у него кожаная сумка. Подобрав полы длинного тэрлика за пояс, он несется, сверкая спицами, на станцию. Это почтальон-монгол везет из степного улуса (села) почту.

Маленькая станция на голом месте. Поезд стоит долго. Паровоз отцепился и пьет воду из хобота водокачки. За железнодорожными путями, за станционными постройками идет степная глушь. Приблизительно в 60 метрах от путей монголы развьючивают верблюдов, опустившихся на колени, снимают с их горбов кошмы и колья, ставят юрты и, вот за 40 минут, пока паровоз берет воду и маневрирует, в степи готов поселок из юрт, монголы уже развели костер и, усевшись на корточках вокруг огня, вдумчиво курят длинные трубки, дожидаясь, пока закипит в котле дзузан (плиточный чай) с бараньим жиром.

И вдруг над юртами, над верблюдами, над сонной пыльной степью, где глухо звенят колокольцы и блеют бараны, рождается не степной звук. Это фыркающий звук пропеллера. Большая металлическая птица перерезывает тусклый желтый диск солнца. Это самолет из Читы.

Монголы продолжают курить у костра с тем же сонным раздумьем. Для них это уже не диво — над караваном верблюдов аэроплан. И верблюды уже привыкли к таким чудесам. Даже степные лошади продолжают спокойно щипать сухую траву.

Здесь ярко это переплетенье степного пастушеского быта с культурой. Железнодорожный путь прорезывает дикие пастбища, его пересекают караванные дороги, у опущенных шлагбаумов ожидают цепи верблюдов, гурты быков, арбы с волами в упряжке, у станций — степные базары, идет шумный восточный торг, пахнет бараниной и кизячным дымом.

На станции в вагон садятся несколько бурят. Двое из них в европейском платье. Они говорят по-русски, в руках у них газеты. Третий — охотник в тэрлике. У всех трех одинаковые широкие

бронзовые лица с далеко расставленными, запавшими между скул, узкими монгольскими глазками.

Охотник очень общителен и любопытен. Не прошло и десяти минут, как я узнаю, что его зовут Мунка, что он из Борзинского округа и едет недалеко на тарбаганий[2] промысел.

— Ты знаешь, кто такой тарбаган? — спрашивает он, глядя на меня острыми глазками. — Его нельзя беспокоить зимой, когда он спит. Он может наказать смертью. Прежде он был большой охотник и убивал много зверей. За это на него осерчал Устюги-Бурхан (бог неба), отрубил ему большой палец[3] и бросил его Тюменги-Бурхану (подземному богу). «Пусть тебя бьют, пусть стреляют и едят голодные люди, пусть ловят звери и клюют птицы», — заклял его Устюги-Бурхан.

Буряты-интеллигенты смеются. Оба они учителя из улуса (деревни) того же Борзинского округа, земляки охотника Мунки. Они рассказывают, что, несмотря на почтение к тарбагану, здешние буряты бьют его десятками тысяч из-за его ценной шкурки. В прошлом году из Бурятии через пограничную таможню прошло в Китай 550 тысяч шкурок.

Тарбаганий промысел представляет собою большое подспорье для бурятской бедноты этого края. Весной и ранней осенью, перед залеганием тарбагана на зимнюю спячку, в Борзинском и Ачинском округах бродят по степям сотни тарбаганщиков — бурят и монголов.

— Тарбагана нельзя убить ружьем, — убежденно говорит Мунка. — Он чует ружье, потому что сам был охотником.

Его надо ловить силками. Прежде чем есть убитого тарбагана, надо искать у него черную кровь. Если у тарбагана черная кровь, то можно от него умереть.

Тарбаган — источник заражения легочной чумой. Поэтому охота на него ограничена рядом санитарных запретов. Чума передается от тарбагана через его блох. Но Мунка иначе об'ясняет заражение.

— Жил на земле великий учитель Бадма-Самбаба[4] Он предсказал, что чума перейдет из земли на траву хун-убусун (в переводе — человек-трава). Тарбаган кушает эту траву и заболевает черной кровью. Бадма-Самбаба предрек, что эта болезнь прекратится тогда, когда четверть людей, живущих на земле, вымрет.

Учителя стараются просветить суеверного Мунку и наперебой об'ясняют ему причины заражения чумой. Но он упорно отмахивается:

— Вы зачитались пустыми учениями. Только Устюги-Бурхан знает, кому и отчего приходит смерть. Вот у моего соседа Дамбы

был табун двадцать коней. Вдруг они пали все до единого. Почему? Потому, что Дамба весной обидел Заяна (духа-покровителя скота) и не принес ему тайлагана (жертвы).

Он задумывается. Спустя несколько минут, он говорит в раздумьи:

— Теперь не знаешь, кому верить. Приходит лошадиный доктор и говорит: «Надо лечит по науке». Приходит лама говорит: «Надо тайлаган давать». Но тайлаган не помогает. Говорят, Заяны вывелись. Молодые буряты смеются над старыми богами. По степи ездят на машинах без коней. По небу летают, как птицы. Зажигают свет без огня. Может быть, в самом деле люди одолели Устюги-Бурхана и не надо верить в старых богов?

На станции Борзя учителя и Мунка сошли. Учителей у станции ждала маленькая одноколка на высоких колесах, запряженная двумя ишаками (ослами). Этот экипаж, приспособленный для горной езды по сопкам, здесь называют бестужевкой. По преданию, экипаж этот изобрел декабрист Бестужев, переведенный с каторжных работ на Петровском заводе в Читу.

Степь и степь — ей нет конца. На станциях голо, пыльно. Острые остья пыли пробиваются через закрытые окна. Пыль струится в вагоне в искрящейся полосе солнечных лучей. Она забирается под одежду, тело горит от нее острым зудом, она ест глаза и скрипит в зубах. Гудки паровоза на пыльных станциях и полустанках сливаются с ревом верблюдов. Степные собаки, огромные и клыкастые. как волки, прибегают на станцию к проходу поезда и ждут у вагонов подачки. Они, очевидно, понимают, что у поезда можно поживиться. К товарным поездам они не выбегают. Как видно, даже пастушеские псы затронуты влиянием культуры!

Монгол-сказитель с инструментом кун-хоу.

Монгол-сказитель с инструментом кун-хоу.

Вдоль железной дороги разбросаны дацаны (монастыри) и кумирни. По кочевьям и стойбищам ходят бродячие ламы с четками и амулетами. Невдалеке от полустанка в степной дали сверкают золоченые крыши дацана с загнутыми вверх краями и, золотыми шпилями. Сейчас годовой монгольский праздник солнцеворота — Майдари. По дороге в тележке везут огромный священный барабан. Лама бухает по его натянутой ослиной коже, сзывая монголов и бурят на религиозные пляски лам, наряженных в маски богов и демонов. Эти пляски — «Цам» — сопровождаются трубачами-ламами с длиннейшими, до несколько метров, трубами — ухтыр-бурэ, издающими рев, которым изображают громоподобный голос быка — праотца монголов и бурят.

В вагоне против меня сидят старый лама и банди (послушник). Жирный, щекастым лама, потупив голову и опустив глаза, перебирает пухлыми белыми пальцами четки. В черном тэрлике, с пробитой макушкой, он поразительно похож на католического монаха. Банди — еще юноша. Его глазки сверкают из глубоких косых глазниц любопытством. Он жадно осматривает новые лица, он переполнен восторгом, и улыбки скользят по его лицу, — должно быть, он в первый раз едет по железной дороге. Но как только старый лама поднимает голову, банди потупляется, скромно опускает глаза, улыбка меркнет.

Пассажиры-буряты смотрят на ламу с благоговением. Говор в вагоне утих. Этот лама служит в дацане, в котором живет бодисатва (святой).

Бурятия, и особенно пастушеская Барга, по которой сейчас несется наш поезд, опутана религиозными суевериями. Ламы, банди, бодисатвы составляют почти треть населения этой страны. Они поработили религиозным страхом первобытный ум степняка — монгола и бурята. Везде обитают духи — добрые и злые. Все живое может воплощать в себе частицу перерождения Будды. Лошадь — священна, и в дацанах холят священную лошадь с расчесанной шелковой гривой, вымытыми маслом копытами, в роскошной сбруе. Бык — прародитель бурят и монголов. Собака — священное животное, исполняющее роль загробного гения смерти. В Монголии ей отдают на с'едение трупы. Баран заключает в себе частицу священного духа, и на религиозных церемониях «Цам» процессия лам надевает на головы бараньи рога. Тысячи духов и гениев подстерегают каждый шаг, каждое намерение бурята, и только ламы могут предостеречь его от ошибок и несчастий.

Темные монголы и буряты отдают в дацаны десятину, а иногда и пятину приплода своих стад и добычи на охоте. Лучших баранов, быков, лошадей требуют ламы в жертву тысячам богов и

духов. Отделение церкви от государства и борьба с религиозными предрассудками пока еще в очень малой степени подорвали здесь влияние духовенства на темных пастухов и охотников этой страны.

Худон (монгольский поселок). Справа—дацан (монастырь).

Худон (монгольский поселок). Справа — дацан (монастырь).

И немудрено. Здесь почти нет городов. В степях кочуют стойбища. От поселка до поселка — сотни километров пути по пустынным степям. Плотность населения — на три километра один человек. Лишь узкая стальная лента рельс Китайско-Восточной ж. д., прорезывающая эту пастушескую страну, несет в глубь степей новые мысли и новые взгляды.

Станция. Лама и его спутник, молодой банди, выходят и идут по дороге в степь. За станцией, у дороги — новенькое деревянное здание. На фронтоне здания — пятиконечная звезда и на вывеске золотом — «Железнодорожный клуб имени Профинтерна».

— Самой! — кричит с крыльца клуба юноша-бурят.

Банди оборачивается. Это, должно быть, его имя. Он улыбается и делает нерешительное движение к крыльцу, но старый лама хмурится, и пухлые его пальцы начинают быстрее перебирать четки. Лицо банди тускнеет, он отворачивается от молодого бурята и хмуро шагает за ламой.

Поезд унес меня дальше. Я не знаю, кто этот юноша-бурят и почему он окликнул послушника. Я видел таких молодых бурят в Чите, в педагогическом техникуме. Некоторые из них — бывшие ламы и банди, а теперь они носят красные значки КИМ'а в петлице и готовятся сделаться учителями в степных улусах.

К вечеру степь начинает холмиться. В лучах скатывающегося

солнца блестит расплавленным дрожащим серебром озеро. Мы едем по краю Барги, у самой границы Китая. В сумерках, синих и тихих, видны из окна убегающие и набегающие зеркала озер. Сверкает цепь огней. Поезд взбегает на мост. Мы перелетаем через реку. Это исток Аргуни, выбегающий из озера Далай-Нор, которое сверкает в нескольких сотнях километров от нас, по ту сторону границы. Мы — в Манчжурии.

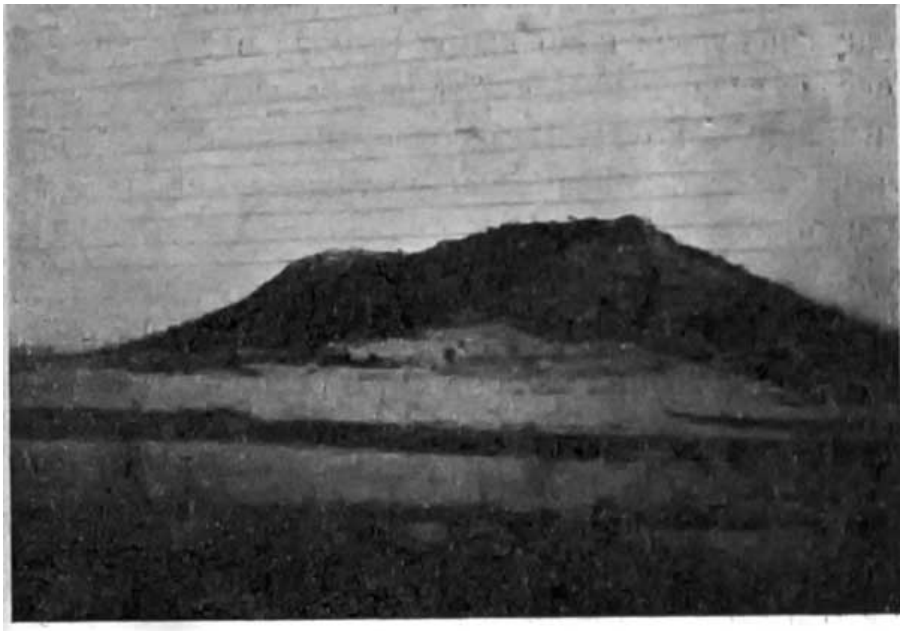
Утром колеса вагона загремели звонче и четче. Мы ехали по железному мосту. Внизу глубоко обрывалась пропасть. Горбатые сопки, наежившиеся{1} кедрами, набегали толпами и теснили насыпь. Серебряно-сверкающая змея рельс извивалась между ними.

Все выше, выше. Если высунуть голову из окна и посмотреть назад, то видны внизу извивы рельс, по которым уже пробежал наш поезд. Насыпь — точно гигантская полка, прикрепленная к зеленым бокам сопок. Иногда плечи сопок расступаются, и тогда разворачиваются равнины залитые потоками цветов мака.

— Ильхури-Алинь, — называет эти сопки, предгорья Хингана, китаец Ли-Тин.

Из трех провинций Манчжурии две засеваются маком. Маковые плантации дают большой доход китайским «купезам» и иностранцам. Осенью, после сбора, маковое зерно идет на выжимку опиума.

— Смотри, гора Син-Ан-лин, — показывает пальцем вперед китаец Ли-Тин.



Сопка в Манчжурии.

Сопка в Манчжурии.

Из мреющего голубого отдаления смутно поднимается неясное облако. Это — очертание далекого Хингана, по-китайски — Син-Ан-лин.

Поезд вертится между холмами. Далекий, еще неясный хребет Хингана то исчезает за поворотом, то показывается вновь. Еще несколько извивов — и над нами его громада. Его крутые бока покрыты цветным ковром зелени, а его темя спряталось в облаках.

Мы несемся по краю глубокой чащи. Котловина под нами заполнена туманом. Иногда в глубине под нами мелькнет кучка фанз. Впереди рельсы смыкаются крутой петлей. Поезд бежит по этой петле. Из окна я вижу черную круглую пасть туннеля.

Поворот так крут, что кажется, будто туннель находится позади поезда, а между тем мы только что вынеслись из теснины совсем рядом с туннелем и сейчас летим назад, чтобы юркнуть в пасть туннеля. Обе насыпи — та, по которой уже прошел наш поезд, и та, по которой он бежит, — сейчас сближаются.

Наш паровоз пронесся назад рядом с нашим вагоном и, вскрикнув и пустив клуб дыма, нырнул в туннель. Вслед за ним, сделав страшный поворот над бездной, под своды туннеля нырнул и поезд. В вагоне вспыхнуло электричество. Ярче и четче стук колес. Слышно тяжелое, напряженное дыхание паровоза.

Этот туннель прободал насквозь каменное тело Хингана. Из

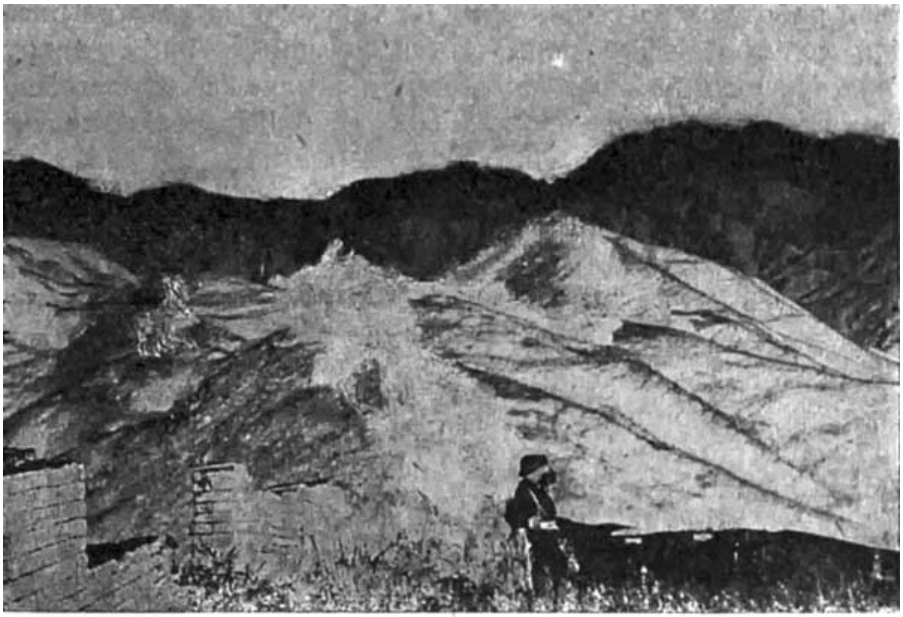
девяти туннелей К.-В. ж. д. этот — самый длинный, около трех километров протяжением. Стены подземелья черны, влажны. Отражения света из вагонов скользят по его стенам, и они тускло поблескивают у самых окон. Иногда кажется, что из темноты несутся черные нависшие глыбы, которые вот-вот ударятся о стенки вагона и раздавят его в своих каменных тисках.

Наконец, в окнах начинает сереть. Точно слабое трепетание рассвета промывает черноту подземной ночи за окнами. Электричество гаснет. Лица кажутся свинцовыми, мертвыми. Поезд выносится из подземелья на простор, на солнце. Мы пробежали по Хинганской железнодорожной петле, которая считается чудом инженерного искусства, и теперь несемся по другой стороне Хингана.

Здесь, в складках холмов, заросших курчавым лесом, белеются дома европейской архитектуры. В игре последних лучей упадающего солнца брызнули белым пламенем стекла окон, сверкнул шпиль высокой башни, пронеслись на высоте какие-то постройки курортного типа. По желтой дороге аллеи, точно по коврику, карабкается вверх автомобиль. Это курорт, выстроенный К.-В. ж. д. в складках мощного Хингана.

Короткая остановка у белой станции. Поезд срывается и мчится дальше в путь, в горы. Уже спустилась ночь. Далеко позади манят уютные огни курорта.

— Надо спи, — говорит Ли-Тин и лезет через мою голову на укладку для багажа. Капитана, — приглашает он меня оттуда, — ваша ходи здесь спи, — и показывает на противоположную укладку.



Чань-Бо, или Шаньские горы. Их вершины серебрятся от усеявшей их размельченной в пыль пемзы.

Чань-Бо, или Шаньские горы. Их вершины серебрятся от усеявшей их размельченной в пыль пемзы.

Всю ночь мы едем по обширной Хей-Лун-цзянской провинции, которая получила это название от китайского названия Амура — Хей-Лун-цзян (красная река). Эта «краснан река» — граница между СССР и Китаем.

Когда я просыпаюсь, за окном уже нет гор. Вместо них, неохватный простор полей, уходящих в желтые, пыльные дали. Высокий золотой гаолян[5] чередуется огненными колосьями пшеницы. Они кажутся желтыми заплатами, вшитыми в зеленую ширь бобовых полей. Эти поля ощетинены, как еж иглами: утыканные колышками, к которым тянут свои цепкие усики бобы, они тянутся во все стороны, сливаясь с далеким склоном неба.

Поля расчесаны канавками на аккуратные гряды. Синие фигуры китайцев копошатся между грядами. Они кропотливо работают на солнцепеке. Их широкие шляпы из рисовой соломы — точно движущиеся янтарные грибы вокруг гряд. Их руки ласкают каждый ком земли, каждый стебель. Там, где земля еще не засеяна, она тонко разрыхлена маленькой киркой и пальцами и кажется бархатной.

Между этими полями, похожими скорее на огороды, мелькают деревушки. Призимистые фанзы, с покатыми земляными крышами, поставленными без стен и почти без фундамента прямо на землю, с прорезанными в крышах окошками с частым переплетом, стоят бок о бок, длинным рядом. По дороге, вьющейся между бобовыми полями, манчжурские широкомордые волы в ярмах тащат арбы на высоких колесах. Арбы нагружены тяжелыми жерновами для выжимания бобового масла.

В вагоне на полу сидит старый китаец. Должно быть, он сел ночью на одной из остановок. Этот сухой, крепкий старик как будто состоит из сухожилий и широких костей. Его ладони — как копыта. Их жесткая кожа черна от в'евшейся в нее на всю жизнь земли.

Железными черными ногтями он разрывает мясо какой-то рыбы. Под его зубами трещат крепкие звенья позвоночника рыбы — он, как и Ли-Тин, ест ее с костями, с жабрами. Маслаки под натянутой желтой кожей на его скулах перекатываются, как шарики.

Лн-Тин сверху весело окликает его.

— Сян-Чжао! — кричит он и говорит что-то по-китайски.

Старик поднимает голову и, пощипывая пальцами свою бородку — с десяток седых волосков на морщинистой, как кора, коже подбородка, — отвечает медлительно, с достоинством.

На тракте из Мергеня в Цицикар. Гурт скота у реки Нонни-цзян на привале.

На тракте из Мергеня в Цицикар. Гурт скота у реки Нонни-цзян на привале.

Они разговаривают на непонятном горловом, клокочущем языке. Но по жестам старика и по подвижному лицу Ли-Тина можно понять, что над старым китайцем стряслась какая-то беда. Он горестно качает головой, морщинки сбегаются к его переносице. Ли-Тин сочувственно щелкает языком.

— Его мало-мало худо дело, — обращается ко мне Ли-Тин. Умирай его надо совсем худо.

Из узких глаз старика выдавливается мутная слезинки. Но речь его не теряет своей медлительности. Продолжая пощипывать свои волоски на подбородке, он говорит мне что-то по-китайски. Я слышу понятные знакомые слова: дюбань — губернатор, контрами — убил, хунхуз. Мне неясно, однако, какое отношение имеет дюбань к хунхузам и убийству и кто кого убил — хунхузы губернатора, или губернатор хунхузов, или оба в компании — кого-то третьего.

Ли-Тин приходит на помощь. Поясняя свою малопонятную тарабарщину жестами и гримасами, он переводит жалобу старого китайца.

Сян-Чжао — переселенец из земледельческой провинции Хубей. Правительство трех об'единенных провинций Манчжурии обещало большие льготы переселенцам в Хинганский район — бесплатный проезд, землю, освобождение на три года от налогов. Сам генерал Чжан-Сюэ-лян, сын знаменитого Чжан-Цзо-лина, подписал этот декрет.

— Дорога вези, земля еся (есть), — переводил Ли-Тин, — дюбань режи-режи, — провел он ребром ладони по горлу, показывая, как дюбань зарезал Сян-Чжао.

К Сян-Чжао пришли сборщики податей и потребовали, чтобы он уплатил за три года вперед.

— Война надо, солдат надо — об'яснил требование сборщика Ли-Тин.

У Сян-Чжао много детей и совсем нет денег. Ему надели на шею деревянную колодку. Его били палками. Но и палки не выбили из Сян-Чжао денег. Сборщики конфисковали и увезли весь его урожай бобов.

— Ой, худой люди! — щелкает языком Ли-Тин и указывает на Сян-Чжао. — Его хунхуз сделайся. Его честный не могу живи.

Сян-Чжао рассердился на Ли-Тина и принялся в чем-то выговаривать ему.

Что он сердится? Что его говори? — спросил я Ли-Тина на его наречии. Ли-Тин осклабился:

Его боится — моя зачем говори.

Правительство об'единенных провинций доводит тысячи

крестьян до этой крайности — бежать с земли и соединяться в шайки. Налоги собраны за 2 и 3 года вперед. Крестьяне разорены поборами местных властей и повинностями. Когда дюбань об'езжает провинцию, его сопровождает свита в несколько сот человек — целая армия чиновников и личный конвой. Весь этот поезд двигается из округа в округ, опустошая все кругом, как саранча. Из деревень к стоянке дюбаня гонят скот, лошадей, волов, везут рис — и все это либо даром, либо под квитанции, по которым нередко платят палками.

В этих фанзах, которые мелькают среди полей за окном поезда, живут горемычные китайские мужики. На нарах под уклоном покатой крыши, в кучах тряпья, копошатся дети и взрослые, мужчины и женщины, по нескольку семейств в фанзе. Все поле крестьянской семьи — пять-шесть гряд, редко — му (1/16 гектара) земли. Крестьянин, обрабатывающий 1-2 ара, — это уже маленький помещик, джентри. Эти джентри{2} сами арендуют землю и, в свою очередь разбив ее на карликовые участки, сдают ее в аренду. Арендная плата взимается натурой — треть и нередко даже половина урожая, причем арендатор не получает ни семян, ни даже орудий.

— Пу-хо, ай пу-хо! — качается старик из стороны в сторону, и слезинки окатываются по желтой коже его щек.

Остановки все чаще, станции оживленнее. Пути забиты составами товарных поездов. Открытые платформы нагружены бобовыми жмыхами, жерновами, лесом. Пакгаузы доверху полны мешками. Гремят багажные тележки, грузчики выстроились гуськом от пакгауза к товарным вагонам и, как живой конвейер, перекидывают тяжелые мешки друг другу, со спины на спину. Железнодорожные агенты с фактурами в руках считают в дверях вагона мешки.

Мы приближаемся к Харбину. Уже раскрылись широкие берега реки Сунгари. Она не сверкает, как другие реки. Ее бурые воды тяжелы.

— Сун-Хуа-цзян, — показывает из окна на реку Ли-Тин.

Это китайское название «цзян» я уже знаю. Раньше мы проехали быструю реку Нонни, и Ли-Тин назвал ее «Нонни-цзян». Цзян — по-китайски река.

Сун-Хуа-цзян пей нельзя, — морщит губы Ли-Тин. Его вода мало-мало чисти надо, — об'ясняет он непригодность воды Сунгари для питья без фильтровки.

Поезд взбегает на мост. Этот колоссальный мост, длиною около километра, немногим короче знаменитого, второго в мире моста — через Амур в Хабаровске.

А вот, наконец, и Харбин. Ли-Тин берет свой багаж —

маленький узелок, и прощается со мною кивком головы. Мне нравится этот славный парень, и мне жаль, когда на вокзальной площади его высокая тонкая фигура ныряет в толпу кричащих рогульщиков и исчезает.

— Ваша Харбин верху, моя Харбин — низу, — загадочно говорит он на прощание.

Несколько позже я узнал, что, в самом деле, есть два Харбина — настоящий Харбин и китайское предместье Фуда-дзянь.

III. ЛИЦО ХАРБИНА

Белый Харбин. Времена минувшие. Правительство на колесах Молочный генерал. Веселая дорога. Радости бывших людей. Избиение школьников. Налет полиции на профсоюзы. Фудадзянь. Китайская беднота.

— Дон-дон-дон…

С колокольни собора, который в Харбине называется кафедральным и Николаевским, сыплется перезвон. «Истинно-русские» белогвардейцы, улепетнувшие сюда после разгрома банд Семенова в Забайкалья и барона Унгерна в Монголии, чувствуют себя дома в царстве китайского бандита, генерала Чжан-Сюэ-ляна.[6] В Николаевском кафедральном соборе служат молебствия «на одоление супостатов» большевиков, за восстановление «державной» Российской империи и панихиды по «убиенному» царю Николаю Романову с его «августейшим» семейством. Служат в пышном облачении — архиерей с клиром духовенства.

На эти молебствия и панихиды собирается белый Харбин. Это бывшие люди — когда-то кадровые офицеры, фабриканты, купцы, профессора «императорских» университетов, крупные сановники. Многие являются в орденах царских и китайских. Многие из них служат в китайском армии и полиции и верной службой — налетами на квартиры советских граждан в Харбине, избиениями их детей, комсомольцев и пионеров, доносами, ревностными обысками у служащих К.-В. ж. д. — сумели заслужить себе китайские чины и ордена.

До октября 1924 года, когда по договору с китайским правительством К.-В. ж. д. перешла в совместное управление Китая и СССР, на железной дороге сначала полновластна распоряжался генерал Хорват, называвший себя «правителем державы российской». У Хорвата были министры, которые называли себя российским правительством и издавали законы для несуществующей Российской «империи», были губернаторы, управлявшие несуществующими губерниями, был генеральный штаб несуществующей армии.

На дороге в то время безраздельно командовал «правитель державы российской» Хорват. Он отдавал по ней приказы, раздавал назначения и награды и вместе с своим «министерством» и «штабом» раз'езжал в вагоне по всей дороге.

— Ну, и времена были! — рассказывал мне один железнодорожный машинист в Харбине. — Начальство ездило целыми поездами на рыбную ловлю или на охоту на фазанов. Не раз я получал наряды вести такие поезда. Назывались они

«поездами особого назначения». Ведешь паровоз, а сзади три-четыре мягких вагона и вагон для воинской охраны. Веселые это были поезда! В вагонах — гульба, разливанное море, песни, стрельба из окон. Вдруг сигнал с поезда — остановка среди чистого поля. Начальству приглянулось место для охоты. Начальник поезда прицепляется проводом полевого телефона к телеграфному проводу и телефонирует по станциям об остановке в пути, приказывая остановить движение поездов впредь до особого распоряжения. Движение останавливается, а начальство рассыпается с ружьями и собаками по тайге на глухарей и на фазанов. А то поставят тоню на озере, ночью на кострах уху варят, хлопают пробки, звенят стаканы. И этак дня два-три. Весело жили! А нам, случалось, по нескольку месяцев не платили жалованья. В кассе управления железной дороги не было ни гроша. Нашему брату, рядовому железнодорожнику, приходилось круто, особенно деповским рабочим: тем совсем не платили.

— Неужели не было протестов, забастовок?

— Запротестуешь! — усмехнулся машинист. — Хорват об'явил на дороге, что всякое требование скопом будет караться по законам военного времени. Дорога была об'явлена на военном положении. Действовал полевой суд. Вешали нашего брата почем зря. Зато поощрялось молочное хозяйство..

— Молочное хозяйство? — удивился я.

— Ну да. Сам генерал Хорват завел за счет железной дороги молочное хозяйство. Железнодорожное начальство снабжалось породистыми коровами. О высшем начальстве и говорить нечего: оно обзавелось фермами. Из-за границы через Шанхай выписали даже сепараторы. Молочные продукты из генеральских ферм доставлялись по железной дороге в Харбин по пониженному тарифу. С легкой руки начальства на молочное хозяйство пошла мода — даже начальники станций обзавелись сепараторами. Благо за все платила железная дорога.

Царствование Хорвата на территории К.-В. ж. д. окончилось полным разорением железнодорожного хозяйства.

Дорога пришла в упадок, запуталась в долгах. На смену молочному генералу, пришел банковый делец — Остроумов.

— При Хорвате охотились и разводили удойных коров, а при Остроумове плясали, — рассказывал машинист. — Остроумов любил веселую жизнь — курорты, музыку, шик. При нем по К.-В. ж. д. ходили поезда с вагонами, в которых были устроены концертные залы, рестораны, ванные. Начальство забросило молочные фермы и занялось курортным хозяйством. По К.-В. ж. д. устраивали курорты, расчищали парки, строили курзалы, везде играла музыка, выписывали оркестры из Шанхая и Японии. Вся

дорога плясала. Сначала и нам, маленьким людям, сделалось как будто полегче начали аккуратно платить жалованье. Потом сразу — крах. От затей Остроумова, который распоряжался кассой управления К.-В. ж. д., как собственным кошельком, дорога окончательно разорилась. Остроумовский шик и блеск лопнул, как мыльный пузырь. Даже друзья Остроумова, китайские власти, всполошились и снарядили следствие. Сам Чжан-Цзо-лин заинтересовался делом. Открылось, что за шиком и блеском скрывались хищения. Остроумов и окружавшая его шайка дельцов обогащались за счет К.-В. ж. д. и расхищали ее казну. Китайский суд посадил Остроумова с компанией в тюрьму{3}.

Неподалеку от Николаевского кафедрального собора, где возносятся молитвы за нашу гибель, над зданием консульства развевается красный флаг, вызывая бессильную злобу белого Харбина. Такой же флаг пылает над управлением К.-В. ж. д. Третий флаг дразнит бывших людей с вышки нашего торгпредства в Харбине.

В этой европейской части Харбина расположен ряд советских учреждений: отделение Дальбанка, Дальторга редакция харбинской газеты «Молва», которая чуть ли не каждый день подвергалась нашествию китайской полиции На этих чистеньких мощеных улицах, напоминающих улицы тихого российского губернского города, живет несколько тысяч «супостатов» — советских служащих, железнодорожников с их семьями, — есть советская и железнодорожная школы, есть профсоюзы, есть партийная, комсомольская и пионерская организации.

Но здесь же рядом, в этой же части города, живет и белогвардейский сброд. Так как К.-В. ж. д. находится в совместном управлении с Китаем, то многим белогвардейцам удалось устроиться на железной дороге, главным образом в охране. Часть белогвардейцев служит в мукденской армии и в китайской тайной полиции, другие промышляют комиссионерством, торговлей, содержат кабачки, тайные опиекурильни, занимаются мелким мошенничеством и нищенством. Вся эта накипь злобствует на советских железнодорожников, всячески пакостит провокациями и доносами, составляет фальшивки, раскрывает вымышленные советские «заговоры» в Харбине и несказанно радуется всяким осложнениям между китайской и советской железнодорожной администрацией.

Еще в конце прошлого года между бывшими людьми в Харбине разнесся радостный слух. В русском ресторане-кабаке, под завывание «русского» хора из бывших людей, щеголь-офицер в капитанских погонах, слегка подвыпивший, говорил за столом, блестя наглыми на выкате глазами, своему собеседнику, помятой личности в котелке, которого он называл бароном.

— На-днях{4} им крышка. Китайцы вышибут их из управления. Имею самые достоверные сведения. Говорил сам… — он перегнулся к собеседнику и тихо произнес какое-то имя. от которого помятая личность просветлела.

— Вы сами слыхали? — недоверчиво переспросил «барон». — Неужели сам дюбань? Ясно. Но…

Наглые глаза офицера в капитанских погонах побежали по сторонам. Он осмотрелся кругом, задержался на мне, нахмурился и заговорил намеренно громко, глядя мне в лицо:

— Через несколько дней вся эта большевистская рвань полетит. Капут их ячейкам и профсоюзам. А там увидим. Заварится каша.

«Барон» сощурился на меня и расхохотался. Несколько пар глаз из-за соседних столиков впились в меня. Грузный военный с красным обвисшим лицом матерого держиморды приподнялся с места. Назревал скандал. Я поднялся и вышел. Советскому человеку вообще не подобает ходить в эти «истинно-русские» кабаки, но меня завлек туда интерес к быту белого Харбина.

Итак, задолго до захвата К.-В. ж. д. слухи о том, что это произойдет «на-днях», уже распространялись самими китайскими властями. Много времени спустя после этого случая в «русском» кабаке, генерал Чан-Кай-ши в Нанкине говорил о неизбежном захвате К.-В. ж. д., и только через месяц после речи Чан-Кай-ши захват был осуществлен. Таким образом, захват готовился давно. Офицер лишь поторопился со сроком, сказав, что это произойдет «на-днях».

Впрочем, вскоре действительно началось первое наступление китайских захватчиков на К.-В. ж. д. Через неделю после пережитых мною неприятных минут в кабачке китайская полиция произвела налет на профсоюзную организацию железнодорожников и на школу.

В сырой, промозглый вечер, в кольце полицейских, вели два десятка школьников. Они имели смелость явиться как раз в день налета на школу в пионерских галстуках. Одетые в китайскую полицейскую форму, русские хулиганы ругали их крепкой русской бранью, толкали их кулаками в спины, размахивали над ними резиновыми дубинками.

— Уж там вам покажут, большевистское отродье!

Огромный верзила с налитым кровью лицом поднял за шиворот маленького школьника-пионера, который все время отставал — детей гнали бегом, — встряхнул его и швырнул на мостовую:

— Иди бойчее, выродок, я из тебя душу вытряхну!

Это происходило на улице, на глазах большой толпы русских и китайцев, возмущенных издевательствами белых разбойников над детьми, но не смевших протестовать. Происходило это тогда, когда между Китаем и СССР еще существовали мирные отношения.

Детей привели в участок и там, действительно, им «показали». Их избили до крови, бросили в грязную, кишащую клопами каталажку вместе с ворами и контрабандными торговцами опиумом и держали их всю ночь под угрозами новых избиений. Лишь к середине другого дня, после настойчивого требования советского консульства, детей освободили, предварительно надавав им зуботычин.

Культурная работа Дорпрофсожа (профсоюза ж. д.) по линии К-В. ж. д. была бельмом на глазу у китайских властей, постоянно подзуживаемых белогвардейцами. Еще бы!

К.-В. ж. д., на протяжении 1800 километров в районе трех провинций, создала сеть профессиональных организаций, школ, клубов, библиотек, детских домов, спортивных площадок, курортов. Ее культурная работа среди десятков тысяч железнодорожников, постановки и кино в клубах на глухих станциях оказывали влияние и на китайское население. Китаец-рабочий, соприкасающийся с К.-В. ж. д. в своей работе, — уже не прежний бессловесный раб. Он начинает понимать свои классовые интересы, чувствовать силу организации и поднимает голову. Поэтому китайские власти под влиянием белогвардейцев старались чинить всякие каверзы культработникам К.-В. ж. д. и преследовали китайцев за вступление в члены профсоюза.

Моя плати хочу, — говорил китаец, переминаясь с ноги на ногу в помещении учкпрофсожа (участкового отдела профсоюза ж. д.) и комкая деньги в беспокойных руках. — Моя союз хочу. Союз — хо (хорошо). Моя больна — союз лечи. Моя гуляй хочу — клуб ходи. На, бери деньга, — совал он мятую бумажку секретарю.

Секретарь взялся за перо, как бы приглашая меня улыбкой посмотреть, что будет дальше. Очевидно, ему не в первый раз приходилось иметь дело с китайцами, которые тянутся в союз.

— Не надо пиши, — в ужасе замахал на него китаец. — Деньга бери, пожалуйста, — пиши не надо.

Он заговорил быстро и пугливо, мешая китайские и русские

слова. Из его спутанной речи можно было понять, что, по его понятиям, профсоюз — подпольная организация для китайцев, что если полиция узнает, что он, Чун-Фо, состоит членом союза, ему будут «руби голова» или в лучшем случае «мало-мало тюрьма посади».

— Нельзя не пиши, — доказывал ему секретарь. — Член союза иметь книжка, взнос писать надо.

— Ваша помнить — моя Чун-Фо. Ваша в голове держи, убеждал китаец принять его в профсоюз без книжки и записей, на память. — Моя рабочий есть.

Он ушел, огорченный, бормоча про себя:

— Пиши нельзя, моя контрами сделать (убьют).

Открыто не запрещалось китайцам вступать в профсоюзы, но бывали нередко случаи арестов среди китайских железнодорожных рабочих и обвинения их в принадлежности к коммунистической партии только на основании профсоюзной книжки.

— Чувствуешь себя, как на линии огня на фронте, жаловался мне учитель железнодорожной школы. — Каждый день ждешь обыска, ареста, тюрьмы. А знаете ли вы, что такое манчжурская тюрьма?

Я не знал на опыте, что такое манчжурская тюрьма, но случай вскоре показал мне, что такое китайский обыск при содействии белогвардейцев-полицейских.

На другой день после ареста и избиения школьников, в одиннадцатом часу утра, телефонный аппарат в учкпрофсоже вдруг перестал отвечать.

— Готово! Началось, — сказал слегка побледневший секретарь и бросился к окну.

На улице у учкпрофсожа стоял большой наряд китайской полиции. Полицейские, конные и пешие, окружили здание, образовав узкий проход, через который, как сквозь строй, пропускали тех, кто направлялся в учкпрофсож, но возвращали назад тех, кто выходил оттуда. Один железнодорожник запротестовал и вступил в спор с полицейским, в котором я узнал давешнего офицера.

На офицере уже не было капитанских погон, которые я видел на его плечах в кабачке. Он был в китайской военной форме. Очевидно, русский офицерский мундир он надевал лишь не при исполнении своих мало почетных служебных обязанностей.

Офицер, не дослушав возражений железнодорожника, повернул его за плечи при грубом хохоте полицейских и толкнул в спину. Железнодорожник был вынужден вернуться в учкпрофсож.

Полицейские ждали кого-то и не входили в помещение учкпрофсожа. Телефон попрежнему не действовал. Работа в учкпрофсоже прекратилась. Набиралось все больше народа. Посетители и служащие перекидывались отдельными фразами, взволнованно курили, напряженно смотрели в окна. Поведут всех в тюрьму, — гадал кто-то.

— Поведут ли — вопрос, а обыск будет основательный, — высказывал свои догадки другой.

Некоторые проверяли содержимое своих карманов и уничтожали бумажки, которые могли показаться полиции подозрительными. Все напоминало картину ожидания обыска в эпоху царской дореволюционной России. И настроение было такое же — уже забытое настроение затравленных охранкой подпольщиков. А между тем почти все находившиеся в этом помещении были мирными служащими и культработниками, не имевшими ничего общего с подпольной революционной работой.

— Как вы думаете — за это не арестуют? — спросил один железнодорожник, показывая членскую книжку МОПР'а.

Никто не ответил, ни у кого не было уверенности в том, что за принадлежность к МОПР'у не могут арестовать, томить долгие месяцы в ужасной китайской тюрьме, судить в не менее ужасном китайском суде. Железнодорожник, однако, подумал и махнул рукою:

— Эх, была не была! Граждане же мы, товарищи, чорт возьми!

И сунул книжку обратно в свой боковой карман.

Тот, кого ждали полицейские на улице, наконец, приехал. Это был китайский полицейский чиновник, пухлый и важный. Он вошел впереди толпы полицейских. Рядом с ним шел офицер, посматривая на всех своими наглыми глазами и, точно в рассеянной игре, расстегивая и застегивая кобуру револьвера.

Китайский чиновник представлял почти безмолвную фигуру. За него говорил белогвардеец-офицер.

— Оставаться на местах, — резким голосом произнес он, избегая обращения на «вы». — Будет произведен обыск.

Председатель учкпрофсожа потребовал у полиции предписания на производство обыска. Китайский чиновник молча взглянул на офицера. Тот с той же резкостью ответил:

— Не возражать. Ордер будет представлен своевременно.

Больше он уже не обращал внимания на протесты представителей учкпрофсожа. Полицейские принялись рыться в бумагах. Открывали шкафы, выкидывали толстые «дела», выбрасывали из ящиков столов бумаги. Служащих и посетителей грубо допрашивали.

— Ты кто? Имя? Фамилия? Должность? Адрес? Зачем

пришел? Документы?

У одного железнодорожника, старика, наглый офицер стал шарить по карманам. Тот возмутился:

— Вы не смеете обыскивать меня. Я — не карманник, а советский гражданин. Я буду жаловаться.

— Жалуйся, — ткнул его в плечо офицер и продолжал обыск.

Когда обыск окончился, помещение учкпрофсожа представляло собою картину погрома. На полу валялись бумаги, ящики столов разрыты и брошены на пол. Переписав всех поименно, офицер отделил работников учкпрофсожа, и тут только заговорил молчаливый китайский чиновник. Заговорил почти правильно по-русски.

Он об'явил, что они задержаны впредь до выяснения некоторых вопросов, и опять сделался нем, когда председатель учкпрофсожа потребовал письменного предписания об аресте.

Полицейские окружили группу арестованных и, грубо толкая их, повели к дверям. Чиновник сел в автомобиль и уехал, а советских граждан, беззаконно, не пред'явив никакого предписания, обысканных, как воров, вели по улицам под конвоем ухмыляющихся белогвардейцев в участок.

Такие начеты, разгромы, обыски и аресты были в этот день произведены почти по всей линии К -В. ж. д. Несколько тысяч профессиональных работников и учителей было посажено в китайские каталажки, десятки школ были закрыты и запечатаны. Только через две недели китайские власти освободили арестованных и сняли печати с закрытых учреждений и школ.

Неподалеку от города расположено китайское предместье Фудадзянь.

Этот город глинобитный, скученный, грязный. Здесь тесно сбились фанзы и лачуги. Каждая щель в этих фанзах и халупах кишит узкоглазыми, желтолицыми китайцами-ремесленниками, чернорабочими, «рогульщиками» (носильщиками), мелкими торговцами, у которых всего товара на несколько гривенников.

Кривые улички сбегаются, как ручейки, к китайскому базару — «барахолке». Эти улички кипят. Лимоннолицые ремесленники работают у своих лавчонок. Медники проворно бьют молоточками. Жестянники паяют у жестяных конфорок, раздуваемых ручными мехами. Парикмахеры, голые по пояс, бреют на улицах. «Купезы», как пауки в гнездах, сидят в темноте своих лавок, под длинными полотнищами вывесок, с которых

струятся переплетенные значки — китайские иероглифы. Над харчевнями висят вместо вывесок обручи с бумажной цветной бахромой. Здесь непереносим для европейского обоняния острый запах китайского чеснока и бобового масла.

В Фудадзяне. Кумирня.

В Фудадзяне. Кумирня.

На базарных уличках юрко вертятся в постоянно струящейся толпе китайчата. Они грызутся у отбросов, как голодные собачонки. кидаются стайками к каждому русскому и, протягивая грязные желтые ручонки, просят:

— Дай! Дай!

Только это одно слово знают они и, получив подачку, улепетывают со всех ног и прячутся с добычей в черных, как звериные норы, дверях халупы.

Женщины с изуродованными ногами, почти без ступни, точно на копытцах, с детьми за спиною, морщат сухие безгубые рты и просят:

— Дай, дай, капитана!

И прячут милостыню за пазуху, обнажая сухие, обвислые груди.

Советскому гражданину опасно часто ходить сюда. Не потому, конечно, что жители этих лачуг причинят ему неприятности. Русский белогвардеец на службе у китайской охранки ходит по пятам советского человека, и нужен только малейший предлог, чтобы не только подозреваемый в агитации среди китайской бедноты был упрятан в тюрьму, но чтобы китайские власти, в поисках большевистского заговора, который мерещится им всюду, причинили большие неприятности

советскому консульству.

Это горемычное, нищее китайское предместье совершенно равнодушно к праздничному перезвону колоколов Николаевского кафедрального собора в те «царские», «табельные» дни, которые крепко помнит белый Харбин. Но китайское предместье знает и помнит дни советских праздников.

Когда вечером в первомайский праздник советские учреждения в Харбине засверкали иллюминацией и из окон клуба железнодорожников полились на улицу звуки «Интернационала», из заречных улиц потекли в город толпы китайской бедноты.

Было ненастье, шел дождь. Тройные цепи полиции из белогвардейцев и китайцев стояли стеной на перекрестках улиц. Но китайские бедняки, пришедшие из Фудадзяня, простояли за этими полицейскими цепями весь вечер, чтобы хоть издали послушать «русска большевика».

— Ваши купи чего?

Я увидал перед собою Ли-Тина. Осклабившись во весь рот, он стоял с рогулькой на спине и кивал мне головой. Я протянул ему руку.

— Здравствуй, Ли-Тин.

Он не привык, чтобы с ним здоровались за руку, и растерянно посмотрел на меня.

— Капитана — добрый люди, сказал он и вытерев свою руку о полу куртки, поздоровался со мной.

Мы встретились на китайском базаре, в кипучке и толчее, которая не утихала, хотя уже спускался вечер.

— Ваша — добрый люди, — повторил он.

Бедный Ли-Тин, знавший в своей каторжной жизни рогульщика и кули[7] одни только грубые окрики и пинки, был потрясен товарищеским рукопожатием. Впрочем, отзыв «добрый люди» относился не только ко мне. Мы шли с Ли-Тином по боковой уличке, и он рассказывал, что «добрый люди» — это товарная станция, которая дает ему работу и платит «мало-мало холосо», пассажирский вокзал тоже «добрый люди», потому что поезда привозят пассажиров, и Ли-Тин носит чемоданы, много чемоданов. Железная дорога кормит его, Ли-Тина, и много-много китайцев, вся «китайска люди железна долога кушай».

Ли-Тин расценивал людей и жизнь с точки зрения работы. На товарной станции всегда много работы — это хорошо. Огромные горы тюков и мешков с хлопком и бобами требуют много рук —

это тоже хорошо. У Ли-Тина есть руки, которых ждут эти тюки, мешки, ящики, боченки. И нет конца вагонам, которые надо нагружать и разгружать, неиссякаемы горы угля, жмыхов, дубовых и кедровых бревен и досок. Поезда привозят работу и уходят для того, чтобы привести новую работу. Хо! (Хорошо).

Он был очень удивлен, когда я сказал, что хочу пойти к нему в фанзу, чтобы видеть, как живут «китайска люди» — рогульщики, кули, ремесленники.

Ваша не ходи там, — старался он убедить меня. Там люди живут худой.

Уличка упиралась в железнодорожную насыпь. По ту сторону полотна начинались плеши, пустырей, заросших бедными, жалкими цветами мусорных свалок — чертополохом, беленой, чахоточными одуванчиками. Одинокие{5}, голое дерево тянуло вверх свои сучья, точно сухие костлявые руки.

Здесь были разбросаны фанзы. Из глиняных труб шел вонючий, горький дым очагов. Загаженная земля была ослизлой, как падаль. Нога скользила по ней. В свалках за фанзами копошились дети и собаки, которые с криком и рычанием отбивали друг у друга добычу.

В фанзе было темно, низко, смрадно. Покатая глиняная крыша, без настила, висела над головой. Захватило дыхание от масляного чада и тяжелого, густого запаха пота. Перед глазами, не освоившимися в сумраке, сгущенном испариной от тел и лохмотьев, точно встала стена мутного тумана. Из этого тумана сначала прорезалось качающееся желтое копьецо масляной лампочки, потом смутно вспухли кучи тряпья на нарах, расположенных вдоль покатых стен, наконец, забрезжили голубоватым мерцанием вечера скошенные уклоном крыши оконца, в частых переплетах, затянутые пленками бычачьего пузыря.

Здесь жило несколько семейств. На нарах, в куче тряпья, сидели, поджав под себя ноги, женщины с грудными детьми; трое китайцев спали ничком, выставив покрытые корой грязи пятки; черный старик-манчжур с тонкими, длинными, как у сома, усами задумчиво курил трубку, сидя на корточках; кучка китайцев, сгрудившись тесно на полу у лампочки, перекидывались узкими китайскими картами, звякала медь, слышались азартные вскрики. Посреди фанзы была печь, в ее узком жерле плясало слабое синенькое пламя, в круглом горшке клокотало что-то. Другой манчжур, молодой и плотный варил рис, пробуя пальцем из кипящего горшка.

Плосконосые женщины на нарах были ужасны. Вероятно, они ни разу в жизни не мылись, но зато обильно смазывали бобовым

маслом жирные, черные волосы, жесткие и толстые, как конский волос. Головки грудных детей, приникшие к их грудям, тоже смазанные маслом, были из'язвлены чирьями золотухи. Эти женщины крикливо ссорились. Одна, помоложе, смежив узкие глаза двумя косыми щелочками, качалась из стороны в сторону и тоненьким голосом тянула заунывную китайскую мелодию, похожую на нудный комариный звон.

Ли-Тин сказал что-то по-китайски. Молодая китаянка размежила свои щелочки, перестала петь и, улыбаясь, закивала головой.

В китайском городе (Цицикар). В богатом квартале.

В китайском городе (Цицикар). В богатом квартале.

— Его есть моя бабушка (жена), — указал на нее Ли Тин.

«Бабушка», покивав несколько раз, снова погрузилась в равнодушие и опять зазвенела свою песню.

— Его хороший бабушка, ничего не работай,— похвастал Ли-Тин.

Женщины, даже у китайской бедноты, не исполняют никаких работ. Даже домашние работы, стирку белья и варку пищи, делают мужчины.

Китайцы бросили игру в карты и обступили меня. Старик-манчжур придвинулся ближе и вытянул сухую жилистую шею, чтобы послушать, о чем говорят. У него была-маленькая ушастая

голова с тоненькой косичкой, заплетенной вокруг почти лысого темени.

Все они оказались грузчиками на товарной станции, молодой манчжур работал на пристани на Сунгари. Ли-Тин оживленно рассказал им что-то. Из его жестов можно было понять, что он рассказывает о «русски люди», т.-е. обо мне, и, кажется, здорово привирает. Вероятно, он рассказал им и о потрясшем его рукопожатии — китайцы совали мне свои влажные, потные руки и, осклабившись, наперебой восклицали:

— Хо!

Только старый манчжур сидел неподвижно со своей трубкой, вслушиваясь и презрительно щуря слезящиеся глаза.

— Его далеко дом. Его из Гирина приходи, — сказал Ли-Тин про старика.

Манчжур был мужиком из-под Гирина. Его «грабил хунхуз», «бабушка (жена) его мало-мало убей», «фанза гори» — все это рассказал Ли-Тин, и китайцы-грузчики подтверждали кивками голов и горестно-сочувственным «пу-хо» (плохо). И старый манчжур слушал рассказ о своих несчастнях равнодушно и презрительно, точно кого-то далекого, а не его обездолили хунхузы, ограбили хозяйство, убили жену, сожгли дом.

Рис в горшке поспел, и китайцы проворно принялись есть его палочками. Они с'ели по горсточке риса, и это был их обед и ужин за весь день, перегруженный тяжелым трудом. Старик-манчжур совсем не ел. Он ушел в свой угол и продолжал курить трубку, сидя на корточках неподвижно, как идол.

Лампочку перенесли на нары и сели вокруг нее.

— Наша кури надо, — блаженно улыбался Ли-Тин.

Китайцы раскалили на длинных иглах коричневые плиточки опиума и закурили. Ли-Тин погрузился в наслаждение и даже не заметил, как я поднялся и пробрался ощупью к выходу. Тошный осадок дыма першил в горле и подкатывался тошнотой под сердце.

Позднее я бывал и в других фанзах — у носильщиков, которые ходят по утрам по улицам нового города, согнувшись под длинным, в три метра, бамбуковым коромыслом, на концах которого висит кладь; у водоносов, которые на таких же коромыслах носят в кубических жестяных ведрах воду из Сунгари; у портных, которые, сидя по пятнадцати часов на корточках, шьют кропотливой китайской стежкой манчжурские тэрлики (халаты) для продажи на барахолке; у ткачей, которые, стоя у первобытных станков, приводят в движение че'лнок непрерывной работой ног и рук; у кожевников, которые дубят кожу манчжурских быков мочей и в вони испарений работают от зари до полуночи, чтобы

заработать на горсть риса.

Такой горькой нищеты, такого труда, такого терпеливого равнодушия к себе, как у китайцев и манчжур рабочего Харбина, я не видал больше нигде. Японские агенты, вербующие рабочих для своих южно-манчжурских плантации боба и мака, гиринских табачных плантаций и угольных копей под Пекином, грузили их, как скот, в вагоны, и они покорно набивались по полусотне в товарный вагон — они ехали зарабатывать каторжным трудом свой рис и затяжку опиума.

IV. ПО ПУТИ НА ВОСТОК

Вынужденным от'езд. С билетом, но заяц. Неудобства советского чело века в Китае. Пресный сосед. Опиум и Евангелие. Парень-рубаха. История К.-В. ж. д.

Мои ночные посещения китайской бедноты не прошли мне даром. В гостинице уже справлятись обо мне. Каждый раз, когда я спускался по лестнице, хозяин гостиницы миленький, худенький японец в стишком больших очках для его сморщенного крошечного личика — выскакивал из своей каморки, которая гордо называлась конторой, и неодобрительно поглядывал на меня.

Однажды он поймал меня за рукав и, вежливо изгибаясь и расплываясь в улыбке, повел меня за собою в свою «контору». Он употребил неимоверное количество жестов, чтобы об'яснить мне при помощи тех нескольких русских слов, которые знал, что он ужасно не любит иметь дела с китайской полицией. Я понял, и он радостно закланялся всей своей игрушечной фигуркой. И, прежде чем я успел опомниться, бой (слуга) уже взвалил мой чемодан на плечи, а хозяин, опять извиваясь в поклонах, возвращал мне документ.

У меня не было намерения так скоро покинуть Харбин. Я едва только успел увидеть краем глаза жизнь этого любопытного города. Меня глубоко захватил интерес к китайским улицам, к быту и труду китайской бедноты. Лишь накануне, так, в заречном городе, а познакомился с молодым китайцем, коммунистом, который недавно окончил университет трудящихся Востока в Москве и теперь, рискуя головой, руководил подпольными кружками среди китайских рабочих на пристани Сунгари.

Я сидел на вокзале, в зале первого класса, таком похожем на сотни российских вокзальных залов, — с буфетом, где под стеклом черствели чахоточные бутерброды, с пыльными растениями на длинном столе, с официантами, правда, китайцами, но капля в каплю похожими на всех вокзальных официантов. Передо мною были два пути: близкий путь — в китайскую каталажку и оттуда, может быть, в тюрьму, если я стану упорствовать в своем интересе к запретным для советских людей китайским фанзам и лачугам и останусь, на зло шпикам, в Харбине, или далекий путь — дальше по К.-В. ж. д. на восток. Разумеется, я выбрал последнее.

Почему невозможно менять лицо и цвет кожи, как одежду? Почему у меня сейчас не узкий разрез глаз и не желтый цвет кожи? Если бы это можно было сделать, в каких дураках я

оставил бы харбинскую охранку и ее шпиков-белогвардейцев, принюхивающихся к следам каждого советского гражданина. Я затерялся бы в китайской толчее китайского города, я ходил бы и ездил, куда хочу.

Впрочем, для этого даже не нужно быть непременно китайцем. Англичанин, американец, японец свободно рыщут вдоль и поперек по этой стране, по ее городам и улицам, и ни одна ищейка, ни белая, ни желтая, не интересуется ими. Но то, что я есть — моя советская сущность и советский напор, — сильно ограничило возможности и круг моих наблюдений. Не было даже уверенности в том, что мне можно ехать на восток. У меня не было «бумажки», и, сев с билетом в кармане в мягкий вагон, я чувствовал себя зайцем.

Но ехать, так ехать. Кондуктор на перроне дал сигнал к отправлению, паровоз откликнулся на трель свистка, поезд рванулся и пошел. Харбин — назади{6}, и сыщик пока одурачен, потому что хозяину гостиницы я заявил, что еду обратно в Читу.

В плюшевом купе я не один. Против меня сидит человек иностранной внешности, выбритый, вылизанный, с рыжими зачесами жидких волос на лысых висках. Его ноги прикрыты клетчатым пледом. На нем черный сюртук, застегнутый почти до горла. Острый кадык на горле выпирает из тугого крахмального воротничка. Человек этот сидит так, как будто его, как сига, насадили на прямую палку. Он держит перед своими глазами маленькую книжечку в синем бархатном переплете с медными наугольниками и застежкой. На переплете вытиснен крест. Ага, английский миссионер!

Вот он не чувствует себя зайцем в Китае. Он поднимает глаза поверх своего бархатного Евангелия. Эти глаза цвета воды смотрят на меня строго. Тонкие голубые губы, похожие на дождевых червей, едва заметно шевелятся. Точно не из его горла, а откуда-то из глубины его тощего, прямого тела, из живота, что ли, звучит его голос. Кажется, он обращается ко мне, но что он говорит, не понимаю.

Это ничего не значит, что я не знаю ни слова по-английски. Не зная языка, я разговариваю с китайцами, с корейцами, с гольдами, с японцами, даже с тунгусами с Камчатки и айнами с Сахалина. Было понятно и весело для обеих сторон. Этот человек говорит без всяких жестов, с совершенно неподвижным, как фарфоровая маска, лицом и, кажется, сердится, потому что голос, идущий из его тощего нутра, становится гуще. Но я все-таки не могу понять.

Тогда он перекладывает синее Евангелие в левую руку. его правая рука в крахмальной манжетке вытягивается под

геометрически точным прямым углом, сухой палец с отполированным ногтем указывает на эмалированную табличку на стене. Там на четырех языках написано: «для некурящих». Я гашу папиросу, а англичанин снова устремляет свои водянистые глаза на Евангелие.

Этот пресный господин едет на юг, где цветут маковые плантации, где, во славу Христа и Британской империи, его соотечественники, плантаторы, выжимают из мака сок для опиума, а из китайских рабочих — пот для доходов с своих акций. Весь юг «особого района» пестреет маковыми полями. Среди этих полей, в китайских деревнях и городах, разбросаны миссионерские школы — агитпункты английского империализма, который одновременно с ядом опиума прививает китайцам яд христианской покорности и незлобия.

В плюшевом купе душно и тошно от постного миссионера. С внутренним вздохом сожаления я вспоминаю свой путь от Карымской до Харбина в жестком вагоне манчжурского поезда с корейцами, бурятами и монголами, вспоминаю Ли-Тина на укладке для багажа, плевавшего без всяких церемоний вниз через мою голову, вспоминаю запах чеснока, бобового масла и пота и в досаде и тоске заваливаюсь спать.

Как раз в эту минуту поезд тормозит, в окне наплывают огни. Станция. Створчатая дверь купе раскрывается, носильщик пыхтит над огромным чемоданом. Обладатель этого колоссального чемодана — почти карлик, японец, в котелке, в коричневых перчатках, приветствует англичанина. Тот откладывает бархатное Евангелие на столик и, сохраняя неподвижность своего фарфорового лица, протягивает руку японцу и отвечает ему на приветствие своим голосом из желудка. Итак, чорт возьми, они знакомы. От одного было тошно — теперь двое. Я вскакиваю и выхожу в коридор.

У окна курил старик в железнодорожной фуражке. От него так и брызгало веселой стариковской бодростью. Все радушно смеялось на его лице. Смеялись лучи морщинок вокруг веселых, искристых глаз, весело курчавились завитки его серебряной широкой бороды, под усами дрожала улыбка.

— Из России? — спросил он и открыл два ряда блестящих, совсем молодых зубов. — По лицу вижу — не по носу вам наши места. Китайскую каталажку нюхали?

— Нет еще пока.

— Поживете — понюхаете.

Он рассмеялся, точно это было очень весело нюхать китайский полицейский участок.

— Не из Москвы ли вас занесло?

— Из Москвы.

Он до того обрадовался, что бросил курить.

— Сыпьте ко мне. В купе как раз есть место. Где ваши вещи? Айда!

Не спрашиваясь меня, он бросился за моим чемоданом, перетащил его в свое двухместное купе и там молча осматривал меня несколько минут восторженным взглядом.

— Батюшки, из самой Москвы! И нашел себе соседа. Сдохнуть можно с этим живым церковным паникадилом! Ну, рассказывайте.

Но рассказывать мне он не дал. Видно, у него накипела потребность поделиться со свежим человеком. Он рассказывал о себе. Он — дежурный по станции, служит на К.-В. ж. д. тридцать с лишком лет, чуть ли не со дня открытия движения по этой дороге.

— Станцию Имяньто знаете?

Я не знал этой станции.

— Паршивая станциошка. Однако, ничего, обжился. Клуб выстроили. Школу тоже. Все это в наше, советское время. Вы — вполне советский, я полагаю?

Глаза его стали серьезны и пытливо впились в меня. Разумеется, вполне, — успокоил я его.

— Так, так. Ну вот, хорошо. Стало быть, больше тридцати лет протрубил я на этой дороге. При мне она и отстроилась. С солдатчины здесь и остался. Времена давние. На подавление боксерского восстания нас тогда послали. Тут мой срок службы и вышел. Еще до того, в девяносто шестом, что ли, начали дорогу строить. Строили ее, батенька, такие хапуги, что… Русско-азиатский банк строил, ну, и понятно. Миллионы к рукам прилипали. Мост через Сунгари видели? Так инженер, который его строил, состояние нажил прежде, чем мост был наполовину готов. И было от чего нажиться. Китайский труд дешев, а в те времена совсем даром работали. Наживались артельщики, десятники, кто во что горазд. Как саранча, налетал сюда всякий сброд из России. Золотое дно! Свыше полумиллиарда ухлопали на дорогу, а построили, так в первый же год шпалы начали раз'езжаться, быки на сунгарийском мосту то и дело давали трещины… Дорога давала миллионные убытки. Впрочем, царское правительство строило ее не для эксплоатации, а для других целей. По договору с китайцами, дорогу проводили до Порт-Артура. Уже тогда чувствовалось, что дорога строится для военных целей. В русско-японскую войну К.-В. ж. д., если, помните, и сослужила службу. Только она лишь и помогла подвозить войска и провиант. Если бы не К.-В. ж. д., японцы нам

бы дыхнуть не дали. Побили бы еще круче. Ну, да ладно, будет о прошлом… Меня другое возмущает…

Точно обожженный своими мыслями, он вскочил и лихорадочно закурил.

— Скажите, вы знаете договор о К.-В. ж. д. с Китаем?

— Какой — советский или старый?

— Старый, новый, не все ли равно! — закричал он на меня, как будто я был виновником неприятностей, чинимых китайскими милитаристами железнодорожникам К.-В. ж. д. Сказано и подписано: через 36 лет со дня открытия дороги Китай может ее выкупить. Точка. Дальше: ежели же он выкупить ее не сможет, то через 80 лет он получит ее даром{7}. На-те, получите из рук в руки, тепленькую. Точка. Ну? 36-летний срок еще не истек, а вы хотите хапнуть. А по рукам не хотите? Что?

Он наседал на меня, окуривая меня дымом, точно хапнуть дорогу хотел я, а не клика Чжан-Сюэ-ляна и Чан-Кай-ши.

— Позвольте! — отстранился я.

— Нет, не «позвольте», а, извините пожалуйста, по рукам дадим. Я — советский железнодорожник, у меня тут печет, — ударил он себя по груди. — Боксерскую контрибуцию мы вам подарили? Извольте отвечать — подарили или нет?

— Подарили, — покорно ответил я.

— А договор от 4 октября 1924 года вы подписали? Собственноручно ?

— Собственноручно, — подвердил я, хотя не я подписывал этот договор, а китайское правительство.

— Что говорится в этом договоре? Во изменение старого договора, К.-В. ж. д. переходит в совместное управление Китая и СССР. Права — равные, доходы — пополам Точка. Мало вам этого?

— Да я… — попытался я возразить.

— Что вы все «я» да «я»! — кипел железнодорожник Все ясно, как орех. Прежде дорога давала чистый убыток, а уж в первый год совместного управления мы довели прибыльность дороги до 7 с лишком миллионов рублей. В 1926 году К.-В. ж. д. дала 15 ½ млн. прибыли, а в 1926 — свыше 16 миллионов. И этого вам мало!

— Да я-то тут при чем?

— Опять «я»! Я ему русским языком говорю — свинство, разбой, а он мне — «я», «я»…

Он вдруг остановился, взглянул на мое растерянное лицо и расхохотался.

— Фу-ты! — вытер он слезы смеха на своих лучистых глазах. — Погорячился. Иногда по ночам сидишь на своей проклятой станциошке в дежурке у диспетчера[8] и вот в этаких словах

мысленно споришь с китайским правительством. Прирос я за тридцать лет к этой дороге. Горит во мне обида. Был бы я, вместо Карахана{1}, уж написал бы им! Небу жарко стало бы!

Старый железнодорожник угомонился и улегся спать в одежде и сапогах. Его могучий храп наполнил все купе. Мне не спалось. Железнодорожник разворошил в моей памяти все, что я знал и слышал о К.-В. ж. д. и ее прошлом.

Из Харбина ответвление К.-В. ж. д. идет на юг. Эта дорога перерезывает лесную холмистую Шен-цзинскую провинцию и, ответвляя линию на Гирин, бежит через Мукден к тихоокеанской бухте Да-Лян-ван и Порт-Артуру.

Улица в Мукдене.

Улица в Мукдене.

На Квантунском полуострове, у Да-Лян-ванской бухты, при царском правительстве был выстроен город Дальний и оборудована гавань. Молодой русский империализм в своих захватнических устремлениях к восточным рынкам и морям пытался в те времена утвердиться в Манчжурии и на южном побережьи Тихого океана. Квантунский полуостров с портами был отдан Китаем в аренду России. Началась хищническая эксплоатация природных богатств Манчжурии. В этом узаконенном договорами грабеже русский империализм не отставал от американского, английского, германского империализма.

В 1900 году китайские народные массы поднялись против

наглого грабежа с оружием в руках. Вспыхнуло мощное народное восстание, известное под названием восстания боксеров. Повстанцы-боксеры разрушили почти три четверти К.-В. ж. д., изгнали иностранцев из их концессий, жгли и уничтожали предприятия иностранных капиталистов. Восстание развивалось и ширилось под лозунгом освобождения Китая от «белых дьяволов» — иностранцев.

Империалистические державы высадили в портах Китая соединенные отряды войск для подавления восстания. Россия, под предлогом борьбы с боксерами, ввела в Манчжурию свои войска и заняла ее, обязавшись очистить ее через 3 года. Но, упрочившись в Манчжурии, царское правительство не имело никакой охоты уходить из нее. Царские чиновники, генералы Абаза, Безобразов и др., заключили с продажным китайским правительством невыгодные для Китая договоры на лесные концессии и расхищали ценнейшие леса на р. Ялу в Манчжурии.

Японские империалисты тоже тянулись к богатой Манчжурии. Они косились на захват Манчжурии Россией. В 1903 году истек срок занятия Манчжурии русскими войсками, но Россия и не думала выводить их из этого богатого края. Япония потребовала немедленного вывода русских войск… Царское правительство отказалось от выполнения своего обязательства. Это послужило поводом к русско-японской войне 1904-05 гг., которая в сущности была войной между русским и японским империализмом из-за дальневосточных рынков.

Разгромленное в этой войне царское правительство вынуждено было по мирному договору не только очистить Манчжурию, освободить Квантунский полуостров и вернуть Порт-Артур, но и отдать линию К.-В. ж. д. на Гирин и Порт-Артур Японии и Китаю.

Теперь на этой дороге распоряжаются японцы. В Гиринской провинции у японцев находятся в концессии табачные плантации, соляные копи и разработки леса. В Шен-цзинской провинции они завладели угольными рудниками. По южно-манчжурской дороге идут товарные поезда с прессованным табаком, с каменной солью из копей Нингуты, платформы, нагруженные досками и бревнами из манчжурских лесов, с полей Хей-Лун-цзянской провинции подвозят к станциям горы «бунтов» (тюков) с бобами и желтым гаоляном.

Во всех трех провинциях Манчжурии раскинута сеть японских концессий, поддерживаемых крупнейшими японскими банками. Правительство Манчжурии — по горло в долгу у японских банкиров, главным образом у крупной банковской фирмы Шидераха. Население закабалено у японских ростовщиков.

Японцы — хозяева Манчжурии. Для них — залитые электричеством, прекрасно оборудованные поезда-экспрессы, пробегающие по 80 километров в час. Для них — блестящие отели в городах. К их услугам рикши в Мукдене, эти двуногие лошади, бегущие во всю прыть с бамбуковыми двухколесными колясками. Японец-седок важно сидит в коляске и подгоняет рикшу-китайца тычком трости в спину.

Рикши в Мукдене. В легких колясках лошадь заменяется человеком.

Рикши в Мукдене. В легких колясках лошадь заменяется человеком.

Японцы — верхний капиталистический слой Манчжурии. Китайцы — рабочие руки на их предприятиях, манчжуры-скотоводы в степях Хей-Лун-цзянской провинции пасут стада овец и манчжурских быков, закупленных японскими скотопромышленными фирмами. Тунгусы в густой манчжурской воцзи (тайге), непроходимо заросшей гигантским орешником, кедром, черной березой, бьют соболой и белок для японских купцов, раскинувших свои фактории в поселках и деревнях.

Для японцев в Манчжурии китаец — человек второго сорта. Китайца, если это не «купеза» и не чиновник, не пустят на вокзале в зал I класса. Швейцар-японец вытолкает его в шею. Для китайцев есть вокзал — вонючий, проплеванный барак, без скамеек, почти без света, с проплеванным, слизлым деревянным

полом. Для китайских рабочих есть особые вагоны, в которых возят скот и в которые их на бивают, как скот.

V. ОТ ХАРБИНА ДО ПОГРАНИЧНОЙ

На высоте. Удравший чемодан. Птица-пересмешник. Теплая трава. Кто , такие хунхузы. Соль Нингуты. Живые и мертвые вещи. Гостиница для верблюдов. Китайский сказитель. Контрабандисты. Снова дома.

Я проснулся утром. Старика-железнодорожника уже не было. Поезд стоял у станции. Станционные постройки, точно гнезда из бетона и камня, лепились высоко у боков курчавой горы, ярко вырезывающейся на сочном, васильковом небе. С чайником в руке я выскочил из вагона.

— Долго будем стоять?

Мне показалось, что проводник ответил — двадцать минут.

Почему не забраться туда, где прилепились эти бетонные гнезда? Почему не окинуть глазом широкий простор манчжурской тайги, не полюбоваться с высоты на зажженное солнечным пламенем ожерелье озер между складками сопок, затянутых сизой кисеей утреннего тумана?

— Камбе (здравствуй), капитана!

Припадая на больную ногу, ко мне подходит китаец. Две полосатые ковровые торбы перекинуты через его плечо.

— Ваша табак купи?

Он вытаскивает из торбы спрессованную пачку янтарных табачных листьев, вкусно нюхает ее плоским носом и выражает на своем скуластом лице блаженство:

— Хо! Бери нос.

И тычет мне в нос пачку.

— Хо, — подтверждаю я.

У него в распоряжении с полдесятка русских слов. Он торопится рассказать мне что-то. Мы оба употребляем неимоверные усилия, чтобы понять друг друга. Его узкие глаза просят о чем-то.

— Нингута, — повторяет он среди потока китайских слов. — Моя Нингута надо. Моя — Ван-Лун, — тычет он себя в грудь.

Внизу неожиданно заливается свисток обера. Прыгая через две ступеньки крутой лестницы, я, сломя голову, мчусь к поезду. Паровоз густо вскрикивает, поезд срывается с места. Я бегу за уходящими ступеньками вагона с чайником в руке и свободной рукой ловлю воздух, вместо поручней Огорченный китаец ковыляет за мной.

— Нету ехать, капитана.

Итак, я теперь понял: его зовут Ван-Лун, ему надо ехать в Нингуту, у него нет денег на проезд, а паровоз, попыхивая

клубами курчавого белого дыма увозит его надежды и мой чемодан.

— Когда следующий поезд?

У начальника станции воспаленные, бессонные глаза, пепельное лицо, запекшиеся губы. Он чем-то надломлен и озлоблен. Больным голосом он отвечает:

— Через сутки.

Ему, как видно, смертельно хочется спать. Он утомленно слушает мои жалобы:

— Я отмечу на вашем билете остановку. О вещах дам знать по телеграфу.

— Но куда мне деться?

Он пожимает плечами и, уже перестав интересоваться моей бедой, зарывается в бумаги.

Я выхожу на платформу. Ван-Лун ходит за мною, как привязанный, и смотрит на меня глазами умильно просящей собаки. Я беспомощно опускаюсь на скамейку. Ван-Лун садится на землю и скидывает свои полосатые торбы.

Солнце — ласково, мягко. Невидный в васильковой вышине заливается манчжурский жаворонок. Эта маленькая птичка — пересмешник. Как попугай, она подражает голосам других птиц, животных. Звенят колокольцы. Жаворонок ли обезьянничает, или где-то пасется стадо?

Ван-Лун вытаскивает из торбы мягкую траву с узкими длинными листьями.

— Ула, — показывает он ее мне.

На землю падает тень человека. Скрипит песок. Широко ухмыляясь, подходит китаец в военной форме — агент железнодорожной охраны. Он берет шелковистые листья травы из рук Ван-Луна, гладит их.

— Ула — мягкий трава, ула — теплый трава, — говорит он. — Его клади в сапога, нога обрадуйся, мороза не бойся, весело ходи.

— Ю (да)! — с радостью подтверждает Ван-Лун.

— Шэн-Цзин[9] — богатая земля, — продолжает он, блаженно жмуря глаза. — Трава ула родит, жин-зенга[10]есть.

Я слыхал об этой траве ула. Ею прокладывают подошвы обуви для теплоты и мягкости. Китайцы говорят, что в Манчжурии есть три дара небес: зверь соболь, трава ула и корень жин-зенг.

Ван-Лун говорит агенту что-то длинное и страстное на китайском языке, все время посматривая на меня.

— Его ходи воцзи (по тайге) туда-сюда, — переводит тот. — Жин-зенг ищи. Нету. Его бодный{8} люди есть. Нингута надо езди, ваша проси — дай деньга. Его день не кушай, два не кушай. Ноги

боли.

— Ю!Ю! — кивает головой Ван-Лун и поднимает на меня просящий взгляд. — Моя товались (товарищ), — затрудненно произносит он это слово.

И опять он говорит что-то по-китайски, раскачиваясь из стороны в сторону. Его речь напевна, точно былинный сказ. Железнодорожник-китаец так же напевно переводит:

— Чань-Бо[11]— высокий горы, небо лежи на гора Чань-Бо. Ван-Лун ходи горы. Его хунхуз обижай, жин-зенг взял, стреляй нога.

— Ю!

Он продолжает. Ван-Лун — искатель жин-зенга. Он видал в тайге диких кабанов и самого «господина» встречал. «Господин» — это тигр. Он внушает китайцу религиозный трепет. Усы «господина» лечат все болезни, а кто с'ест его сердце, тот не знает страха. Ван-Лун видал «господина» близко. Но «господин» ударил хвостом по своим бедрам и пошел своей дорогой, не тронув Ван-Луна, но хунхуз ограбил его, ранил его в ногу.

— Ван-Лун не могу больше ходи, нога болен.

Ван-Лун закатывает штанину, перетянутую у щиколотки,

разматывает грязную тряпку, заскорузлую от крови, и показывает рану. Ее края опалены пулевым ожогом. От нее несет тяжелым запахом нагноения.

— Ю, ю, хунхуз, — тычет пальцем в рану Ван-Лун.

У Великой китайской стены.

У Великой китайской стены.

Новая тень ложится на солнечную землю. Начальник, станции.

— Ваши вещи задержаны на станции Имяньто, — говорит он разбитым голосом. — В двадцать два часа придет маршрутный поезд. Вы сможете поехать.

Он так устал, что, кажется, сейчас опустится на землю и уснет. Должно быть, он не слышит моих благодарностей.

— Вы можете соснуть у меня, идемте, — вяло зовет он меня за собою.

Ему кажется, вероятно, что весь мир хочет спать, как он. У себя в комнате он валится на кровать.

— У меня лихорадка, — бормочет он, стуча зубами. — Кроме того, я четвертую ночь не…

Он не оканчивает. Молниеносно налетевший сон обрывает его фразу.

Над кроватью начальника станции висит ружье. Перед тем, как свалиться на постель, он сунул под подушку револьвер. Сломанный усталостью и болезнью, он спит тревожно и чутко. Его лицо вздрагивает. Из-под полузакрытых ресниц блестят, как ртутные полоски, его зрачки.

За окном обронили что-то. Начальник станции вскакивает и еще в полусне сует руку под подушку:

— Кто? Что?

И снова валится на кровать.

Часа через два он сидит передо мной и пьет чай. Его освеженные сном, заросшие щеки слегка порозовели.

— Отчего вы не соснули? — теперь его голос свеж. — Вы не будете спать всю ночь. На нашем участке неспокойно.

— Почему?

— Хунхузы.

— Давно?

Они никогда не переводятся. Прошлой зимой они остановили скорый поезд, ограбили пассажиров, нескольких убили, нескольких увели с собою, потребовав выкупа. В последнее время опять стало тревожно. В сопках бродит большая шайка.

— А правительство?

Он машет рукой.

— Правительство… Ну, послали в горы отряд. Китайские солдаты! Когда им платят жалованье, они — солдаты, а когда не платят, они — хунхузы. Чаще им не платят. Цзянь-цзюнь (глава провинции) и его чиновники сами любят деньги, деньги.

— А кто такие хунхузы? Откуда они берутся?

Начальник станции высунулся в окно и подозвал агента охраны. Тот подошел к окну.

— Чун, его спрашивает — ты был хунхуз?

— Ю, — осклабляется тот во весь рот. — Моя был хунхуз. Теперь нету.

— Почему?

— Моя жалованье получай. Хо!

— Ну, иди.

Начальник станции закрывает окно.

— Хунхузы — это крестьяне, ограбленные чиновниками, это голодные солдаты, не получающие по полгода жалованья, это отчаявшаяся голытьба городов. Они бегут в сопки, в тайгу и соединяются в шайки. У них есть организация и дисциплина, есть пулеметы и даже пушки. Они ненавидят китайских чиновников. Но часто генералы вербуют из них свои армии. Солдаты Чжан-Сюэ-ляна — на три четверти хунхузы.

Он рассказывает о ночах на своей глухой станцийке. Жуткие ночи!

— Выйдешь ночью — впереди, за путями, черная тайга, позади, за сопками — тайга. Какие-то трески, какие-то отзвуки голосов. Тайга живет ночью. До революции я служил на гиринской линии. Там бывает — к самой станции подбираются тигры. Ну, с тиграми, знаете, легче, чем с людьми из сопок.

Иногда по ночам видны зарева. Значит, где-то подожгли. Утром приходят китайцы и жалуются — ограбили, угнали скот.

— А железнодорожная охрана?

Он усмехается:

— Вы видели. И притом, что может сделать один охранник? Ну, ладно. Рассказывайте, что в Харбине.

Он слушает понуро.

— Ясно, — говорит он. — Дело идет к захвату. Недавно наш участок об'езжал китаец-инженер из правления: «Скоро дорога будет наша», хвастался он. — Глаза начальника вдруг наливаются огнем. Он ударяет ладонью по столу. — Пусть попробуют! Обожгутся. Мы все до одного уйдем. Все двадцать тысяч железнодорожников бросят работу. Увидите. У них нет ни машинистов, ни администраторов. Без нас дорога развалится. Вы знаете, что сделала для страны К.-В. ж. д. с тех пор, как она находится в советских руках?

Я знаю это. Я проехал всю страну, ее дикие степи, горы, тайгу, бобовые и гаоляновые поля. Я видел кочевые стойбища, фанзы китайских деревушек; видел китайских мужиков, погонщиков скота, звероловов, рабочих, темных, диких, обобранных до нитки жадными чиновниками.

И вот эту задавленную военным разбоем страну пересекает полоска культуры — линия Китайско-Восточной дороги. Здесь школы, больницы, дома отдыха; здесь по вечерам зажигаются электрические огни кино и клубов; здесь рабочие в деповских мастерских и грузчики на товарных станциях разговаривают с «большим начальником:», не сгибая спины, как равные с равным; здесь никого не забивают в колодки, не бьют бамбуковыми палками, не грабят. «Русска большевика» открывает двери железнодорожных клубов, школ, больниц, амбулаторий, домов отдыха для китайских рабочих.

На тракте в Нингуту.

На тракте в Нингуту.

Все жмется к узенькой полоске света и культуры. Вблизи линии К.-В. ж. д. дышится свободнее, легче, китайские чиновники стесняются применять здесь свои зверские, азиатские приемы управления страной, да и китайское население вдоль этой узкой насыпи уже не так бессловесно переносит произвол властей. Оттого, что оно прикоснулось к советской культуре, от всего того, что оно видит на линии К.-В. ж. д. рядом с своей безотрадной жизнью в фанзах, в нем просыпается уже сознание своего человеческого достоинства и своих человеческих прав.

Но это далеко еще не все, что изменила в задавленной, нищей Манчжурии Китайско-Восточная железная дорога. Вблизи ее станций ожила тайга, зазвенели станки лесопилок, загудели бурава каменоломен, поднята плугами целина степей, зацвели плантации хлопка, риса, маиса, к станциям и раз'ездам протянулась сеть проселков и дорог, по которым везут на арбах зерно, лес, пушнину и гонят стада волов и баранов.

На юге, где хозяйничают японцы и американцы, китайцы — люди второго сорта, применяемые только на черной работе за горсть риса, а здесь китаец работает рядом с «русска большевика» и получает столько же, сколько он. Китайца-пассажира не загоняют в скотские вагоны и не выталкивают взашей из нарядного зала I класса, как на южной ветке К.-В. ж. д., на которой распоряжаются японцы. Между «купезой» и кули здесь не делают никакого различия, и бывает даже наоборот, что «купезе» на этой дороге нет доступа туда, где широко раскрыты двери для

кули.

Китайцы-демонстранты со знаменами.

Китайцы-демонстранты со знаменами

Без всякой «большевистской пропаганды», которую китайская охранка, руководимая белогвардейцами, напрасно ищет в бумагах и делах советских организаций К.-В. ж. д., и без всяких «большевистских заговоров», которые чудятся китайской полиции и военщине в советских учреждениях Харбина, все это действует на сознание и ум китайских мужиков и рабочих, соприкасающихся с К.-В. ж. д. Самое существование этой дороги, прорезавшей страну от Забайкалья до реки Уссури почти на 2.000 километров, как полоса яркого света, будит дремлющие в темноте, забытые умы китайской бедноты.

Я догнал свой чемодан и опять сижу в мягком купе. Против меня расположился чистенький японец. Блестят его ногти, зубы, глаза. На нем все выутюжено, приглажено, все сверкает. Сверкает глянцем старательной утюжки накрахмаленная белая сорочка, брызжет лучами бриллиантовая булавка в шелковом галстуке, играют огни в камнях запонок. Даже кожаный чемодан его блестит на укладке никелем замков и наугольников. Его волосы черны до синевы и прилизаны до лакового глянца. На нем все новенькое. Светлосерый костюм, плотно налитый его полноватым телом, облегает его, как собственная кожа. Нигде ни морщинки. Он наполнил купе запахом одеколона и отличного табака. Он очень аккуратен — куря папиросу, он осторожно стряхивает пепел длинным блестящим ногтем на мезинце{2} в пепельницу, а, прочтя газету, старательно складывает ее по сгибу и проглаживает ее своими маленькими коричневыми руками. Он ходит, точно на мягких кошачьих лапах, у него мягкие, юркие, мышиные движения.

Японец сел утром на станции, на которой грузили в товарные вагоны прозрачные зеленоватые плиты каменной соли. Залитые горячим солнцем, они казались плитами нетающего льда. Их выламывают в копях Нингуты. Там прорублены в пластах соли коридоры и залы. Соляные стены и своды точно ледяные. В шахтах — соляные сталактиты, словно колонны из льда. Отражения огней рассыпаются и дрожат на них огненными кристаллами. Под ногами звенит белый соляной песок.

Соль Нингуты загромоздила все пакгаузы на станциях. Размолотую в соляную муку, ее подвозили в мешках и везли на помол в плитах. Ветер приносил с товарной платформы острый запах соли и тонкую соляную пыль. Ею были напудрены спины и головы грузчиков и запорошены, как снегом, доски настила, пути, сходни у тормозных площадок. товарного поезда.

Китайцы на станциях продавали поделки из белого и янтарного камня, селенита, — мудштуки, табакерки, божков, драконов. Эти вещички очень искусной, тонкой резьбы и шлифовки выделывают в Гирине. Кустари-китайцы работают семьями, обтачивая и шлифуя камень на ручных станках. Тонким, как игла, резцом они кропотливо работают иногда неделями, чтобы сделать маленькую вещицу, которой цена — целковый.

Теперь в этот промысел, кормивший десятки тысяч гиринских кустарей, вторгся японский капитал. Он безжалостно раздавил кустарей, вырвал из их рук ручные инструменты и погнал их в мастерские и фабрики, где гранильные и точильные станки с механическими двигателями заменили искусные руки резчика и гранильщика.

Улица в Гирине. Кумирня.

Улица в Гирине. Кумирня.

Но китаец — как цепкая трава. Он сидит и с любовью и упорством обтачивает, шлифует, накладывает узоры на камне и

делает несколько вещичек в то время, как механизированные гранильные станки японцев выбрасывают их сотнями тысяч на рынок. Он голодает, но не хочет и не может уступить.

— Капитана, бери в руки, — убеждал меня китаец на станции, предлагая каменного божка, сидящего на корточках. — Она теплый. — Он презрительно скосился на киоск, где продавались фабричные поделки из камня, и выпятил губы. — Его холодный вещи продавай, умирала камень.

Вертя своего божка и показывая резьбу на нем, он уверял меня, что машина делает мертвые вещи. У нее нет пальцев. Как без пальцев сделать живую вещь? У машины железное сердце — разве она может любить свою работу? Машина спешит — «скоро, скоро делай», и то, что сделано ею, похоже друг на друга, как кирпич на кирпич.

Этот бедняк говорил с огнем и страстью, чтобы заработать полтинник.

Как только поезд тронулся, чистенький японец захватил маленький саквояж, такой же новенький и блестящий, как его чемодан, и ушел в уборную. Он вернулся вымытый, пахнущий, свежий, в шелковом кимоно и сафьяновых туфлях. Я смотрел на него, как он аккуратно складывал свои брюки по выутюженной складке, как он долго возился с пиджаком, налаживая его на какой-то особый прибор, чтобы он не помялся в плечах. Наконец, он окончил свою возню, раскрыл свой портсигар и неожиданно обратился ко мне по-русски:

— Курите? Пожалуйста. Превосходный табак. Гиринский.

Он говорил чисто, чуть-чуть скрадывая неподдающийся японцам и китайцам звук «р».

— Гиринский табак,— повторил он.

Его маленькие черненькие глазки впились в меня. Я похвалил табак. Японец обрадовался.

Гиринский, — сказал он в третий раз. — С моих плантаций.

Этот вылизанный, аккуратный человечек оказался собственником обширных плантаций. Из новенького бумажника он вынул узкий кусочек картона с золотым обрезом — визитную карточку. На трех языках — японском, английском и французском — на ней было напечатано не его имя, а название фирмы.

Даже в дороге японец усердно занимался делами. Два раза ему приносят в вагон телеграммы. Просмотрев их, он записывает что-то механическим пером в записную книжку, обтянутую сафьяном. У него в портфеле телеграфные бланки. Он рассылает со станций телеграммы. В нем смесь американского делячества с чем-то своим, азиатским.

— Наша фирма ведет дела с Шанхаем, Ургой, Владивостоком, — с самодовольством рассказывает он. — В Тянь-цзине и Цицикаре — наши табачные фабрики. Наши сигары курит весь Восток.

Он говорит, как живая реклама.

— Наши табаки выдержаны. Тонкая резка. Идеальная упаковка. Высший сорт — в изящных табачницах из селенита. Специальные мастерские табачниц.

На табачной фабрике у него работают девочки. Его агенты вербуют работниц среди бедноты китайских деревень.

— Контракт на пять лет. Первые два года — доллар в неделю. В дальнейшем — по заслугам. Живут в общежитии при фабрике. Очень хорошо.

За доллар в неделю японец покупает маленьких рабынь на пять лет. Они работают 12 часов в сутки, и он считает, что оказывает им благодеяние.

— У нас, в Японии, такой порядок найма, конечно, устарел. Но в Китае… Здесь нужна твердая рука. Это им же на пользу. Вы не думайте — я передовой человек. Я принадлежу к партии минсейнто[12]Рабочее движение, рабочее законодательство — это же неизбежно. Но Китай…

На одной станции он выходит в своем кимоно. Его почтительно ожидает агент фирмы — японец, грузивший тюки табаку. У агента точно резиновая фигура. Он извивается перед хозяином.

— Погрузка на Владивосток, — сообщает мне японец, вернувшись в вагон. — Наши оптовые цены дешевле всех. Тюки прокладываются сохраняющей аромат и влажность вощеной бумагой.

На другой станции он разговаривает с толпой оборванных китайцев, брезгливо держась от них в отдалении. Они шумно требуют у него чего-то. Он кивает головой и делает призывающий жест. Вместо того чтобы, соответственно его жесту, подойти, китайцы с протестующим гамом уходят.

Японская жестикуляция иногда не соответствует по смыслу нашей. Кивок головы у японца означает отрицание! приглашающий жест — «уходи прочь».

Деловой японец возвращается рассерженным:

— Грязные, жадные разбойники! С ними надо разговаривать при помощи палок. Эти люди кормятся у моего дела. Сеют табак. Мы даем семена, орудия. Две трети сбора — наши, треть — им. Целая треть!

— Они сеют на своих участках? — справляюсь я.

— Ну, ясно.

— Что же им остается за труд?

— Я же сказал — треть. Это не мало. Что? Мы ведь не занимаемся благотворительностью в Манчжурии.

Мне хочется сказать, что он грабит этих «разбойников», но он смотрит на меня такими ясными, убежденными в своей правоте глазами, что я не решаюсь спорить с ним: все равно мне его не убедить. Это общая система международной шайки дельцов, высасывающих соки из населения Манчжурии.

— Мы очень много сделали для Манчжурии, — продолжает он в тоне рекламы, — 50 миллиардов иен[13] японского капитала в манчжурской промышленности. Железные дороги. Каменноугольные разработки. Широкий деловой кредит отделений наших банков. Колоссальные займы. Мы вытесняем из Манчжурии англичан и американцев. Япония — впереди всех.

Я вспоминаю о японских солдатах в городах Манчжурии. Эти солдаты оберегают интересы «благодетелей», их концессии, их дивиденды[14] с железнодорожных акций. Японские концессионеры, плантаторы, банкиры, купцы саранчей облепили эту страну и под охраной штыков шаг за шагом готовят ей судьбу Кореи[15].

У Нингуты проходит широкий оживленный тракт. Он пересекает железную дорогу. Этот старинный караванный путь с юга, вдоль притока Сунгари, Ми-да-цзян, расходится у Нингуты развилкой: к западу — на Гирин, а к востоку — к Печилийской бухте Тихого океана. Он проходит по землям, изрытым соляными копями, бежит мимо залитых водою рисовых полей, мимо табачных плантаций, к пристаням Ми-да-цзяна, до самого его устья в Северной Манчжурии у гогора{3} Сань-Самь-чен. Полями и недрами по обе стороны этого тракта завладел японский капитал.

Караван с кладью у ворот города.

Караван с кладью у ворот города.

Верблюды с тюками подходят цепью к пристани. С железнодорожного моста видно, как там внизу копошится трудовой муравейник. По сходням на баржи бегут маленькие, согнутые под тяжестью фигурки. На голубой ленте реки — желтые заплаты плотов. Ползут буксирные пароходы, таща вереницы барж{9}. С полдесятка китайцев-бурлаков, запряженных в лямки, тянут, припадая к земле, широкий баркас с лесом.

— Хэ-эй, хэ-эй! — разносятся их крики.

У Нингуты я делаю опять остановку. Японец вытаскивает из чемодана коробку сигарет.

— Обратите внимание — сорт «Экстра» Мягкость аромата. Запомните марку. Рекомендую.

Это подарок, но и тут реклама. С площадки вагона он говорит мне вслед:

— В Нингуте вы найдете их во всех табачных магазинах.

Я не собирался в город.

Вечер. Над трактом стоит тонкая красноватая пыль. Дали — точно в отсветах расплывчатого зарева. На алой полосе горизонта, как нарисованные черными мазками туши, четко вырезались ветви кедров. Звуки заглушены, смягчены ночью и далью. Как шум раковины, доносится с пристани трудовая суета. В нее вплетаются далекие вскрики погонщиков, рев верблюда, лай собак. Огоньки города рассыпались где-то в низине, слева от тракта.

У тракта чернеется длинное низкое строение с черепичной крышей. Края крыши подняты вверх, и все здание напоминает старинную китайскую джонку (лодку). В глинобитных стенах — ни одного окна. В глиняном заборе — высокие ворота. Над ними — обруч с бахромой из цветных полосок бумаги. Это китайская

вывеска над постоялыми дворами и харчевнями. Со двора доносится запах верблюжьего помета.

Из ворот выходит китаец с фонарем. Он прикладывает руку козырьком к глазам и рассматривает меня. Его лунообразное лицо расплывается в улыбку.

Ло-то-дянь, — говорит он, приглашая меня жестом во двор.

Я не знаю, что такое ло-то-дянь. Может быть, это означает ночлег, постель, отдых?

Гостиница? — допытываюсь я.

— Ло-то-дянь,— вторит китаец и еще больше ширит в улыбке свое лицо.

Во дворе развьюченные верблюды. Опустившись на колени, они сонно жуют жвачку.

Ло-то-дянь, действительно, оказался гостиницей… для верблюдов.

Верблюжьи гостиницы имеют крытый двор для каравана. Хозяин ло-то-дяня берет несколько медяков за постой, наполняет из колодца водой каменный водоем и поит верблюдов. Двуногие постояльцы должны заботиться о себе сами.

Ло-то-дянь—гостиница для верблюдов.

Ло-то-дянь — гостиница для верблюдов.

Они спят тут же, рядом с верблюдами, на земле, загаженной пометом. Над верблюжьими горбами дрожит свет масляной лампочки, вычерчиваются фигуры людей, слышен дребезжащий звук какого-то струнного инструмента. Кто-то поет гнусавым

голосом.

В кружке китайцев, сидящих на корточках, — слепой старик с длинным трехструнным инструментом. Он гнусит, пощипывая пальцами струны. И звон струн и голос сливаются в тягучий, жалобный звук. Старик тянет свою песню и раскачивается. Вместе с ним раскачиваются, закрыв косые глаза, и погонщики-китайцы, раскачиваются и вытянутые к свету черепашьи головы верблюдов.

Это китайский сказатель. Он рассказывает древнюю былину, бесконечную, как степь. Иногда он прерывает ее, делает глоток сули[16] и, набравшись сил, снова начинает гнусить. Былина тянется нередко два-три часа. Китайцы слушают ее неотрывно.

В ло-то-дяне не одни только верблюды и погонщики. В глубине навеса, у лампочки, другая кучка китайцев. В тюках у них шелка из Шанхая, чесуча, шелковые чулки. Два китайца шумно ссорятся из-за плоского бидона с рисовой водкой.

— Купи, — предлагает мне китаец шелковые чулки. — Ваша мадама еся (жена есть)?

Он щелкает языком, перебирая в грязных пальцах струящийся шелк.

— Мадама надевай, купи.

До границы несколько десятков километров: Контрабандисты ходят из Нингуты с тюками шелка, мануфактуры, с бидонами спирта. Они переходят границу по ночам и рассыпаются по пограничным городам и селам Дальнего Востока.

— Моя Хабаровск ходи. Давай ваша адрес, — предлагает китаец.

Опиум сея, надо? — сует мне другой свой товар.

Маленькая грязная Нингута кишит контрабандистами, которые стекаются сюда из Гиринской провинции. Уссурийская граница проходит тайгой. У Имана ее, по словам китайцев, легко перейти. Из пограничного советского городка Имана контрабанда идет во Владивосток и Хабаровск. В Китай контрабандисты носят пушнину, рога изюбрей[17], контрабандное золото с приисков Забайкалья.

На заре погонщики поднимают верблюдов. Караван выходит из ворот ло-то-дяня. Контрабандисты ушли еще ночью.

* * *

Я опять в вагоне. Убежали назад поля гаоляна. Даль холмится лесистыми сопками. Тайга все ближе подступает к железнодорожной насыпи. Еще несколько пролетов — и заблестит Уссури, пограничная река.

Мы еще в Манчжурии, но на станциях уже встречаются гольды, жители Уссурийского края, мелькают бородатые лица уссурийских казаков, выселившихся в Манчжурию еще в давние царские времена.

За извивом рельс впереди сверкнула серебряная полоса и над нею чугунное плетение железнодорожного моста. Это Уссури. Там граница. Там, на станции Пограничной, рельсы Китайско-Восточной железной дороги смыкаются с рельсами Уссурийской линии…

_47283

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Дзюбинский С. Секретная шкатулка. Ц. 45 к.
Долотин Н. Остров сокровищ (Сахалин).
Окунев Я. По Китайско-Восточной дороге. Ц. 45 к.
Синицын Т. На Новой Земле. Ц. 40 к.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТКРЫТИЯ

Баранов П. (ред.). Крылья Советов.
Лухт Эд. и Бобров Н. Год на острове Врангеля (экспедиция 1928 г.). Ц. 60 к.
Пушкарева Е. Среди песков Южной Африки. Ц. 55 к.
Серебренникова Л. В первый раз вокруг света. (рассказ о путешествии Магеллана). Ц. 40 к.
Яковлев А. Ледовый поход „Малыгина". Ц. 60 к.

В ЧУЖИХ СТРАНАХ

Дмитриев С. В заоблачной стране (Тибет). Ц. 60 к.
Дмитриев С. и Пушкарева Е. Из жизни старой и новой Монголии. Ц. 45 к.
Пушкарева Е. На таинственном острове.

ИЗ ИСТОРИИ

Венкстерн Н. Под стенами замков. Ц. 45 к.
Владимиров В. Трубка дон Алонсо. Ц. 45 к.
Евгеньев Б. Безыменные строители. Ц. 45 к.
Евгеньев Б. Старина стародавняя. Ц. 55 к.
Леонов Н. Клятва на Воробьевых горах (из жизни Герцена и Огарева). Ц. 45 к.
Митчель Л. Две лошади старой Англии. Ц. 25 к.
Сидоров Н. За землей.

О ЖИВОТНЫХ

Боголюбский С. Как произошли домашние животные. Ц. 40 к.
Невтонова А. Мистер Хрикстон и свинья Хавронья. Ц. 30 к.
Чеглок А. На земле и в воде (земноводные и пресмыкающиеся). Ц. 70 к.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Львов В. Вулканы. Ц. 50 к.
Львов В. Землетрясения. Ц. 40 к.

Каждая книжка в художественной красочной обложке

Требуйте эти книги из изд-ва

„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"

Москва, 19, Воздвиженка, 10.

60 к
45 коп.
Р.
К

ЧИТАЛЬНЯ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ

II

СТУПЕНЬ

notes

Примечания

1

R. Jarman (Edited), *China Political Reports 1911-1960*, UK: Archives Edition Limited, 2001, vol.4. Ссылка приводится по электронному ресурсу: Синология. Ру. Советско-китайский конфликт 1929 года: причины и последствия. http://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F

2

Тарбаган — степной зверек, вроде суслика, водится в Бурято-Монголии и Монголии.

3

У тарбагана недоразвит большой палец.

4

Бадма-Самбаба — один из основателей ламаизма, религии бурят и монголов.

5

Гаолян — род индийского проса, которое сеют в Китае. Мука нз его зерен, чумиза, в виде каши и лепешек составляет пищу китай¬ских крестьян и рабочих. Его толстые стебли служат бедноте строительным материалом.

6

Чжан-Сюэ-лян — военный диктатор „особого района трех об'едн-ненных провинций" (Манчжурии). Ведет политику угодливости японскому империализму, распоряжающемуся в Манчжурии, как в колонии Японии. Его отец, Чжан-Цзо-лин, бывший хунхуз, вначале поддерживал интересы японского империализма в Манчжурии, но затем попытался изменить свою политику в сторону подслужнвания интересам американских империалистов и погиб при невыясненных обстоятельствах от взрыва бомб, брошенных под его вагон. Есть предположение, что бомбы были брошены агентами Японии.

7

Кули — носильщик.

8

Диспетчер система железнодорожного телефона для сообщения по линии.

9

Шэн-Цзин — название Манчжурии по-китайски.

10

Жин-зенг, или жень-шень, — растение, корень которого ценится китайцами как целебное средство, на вес золота.

11

Чань-Бо, или Шанхайские горы, — их хребет проходит у истоков Сунгари.

12

Минсейнто — либеральная буржуазная партия в Японии.

13

Иена — монетная единица в Японии, около 2 рублей.

14

Дивиденд — прибыль с акций.

15

Корея — самостоятельная страна, захвачена Японией и превращена в колонию.

16

Сули — рисовая водка.

17

Изюбрь — лось. Его весенние молодые рога высоко ценятся в Китае, как чудодейственное лекарственное средство.

comments

Комментарии

1

Имеется ввиду Л. М. Карахан (Карахян), революционер, советский государственный деятель, занимавший в 1923-1926 гг. пост советского полпреда в Китае. — V_E.

2

Так в оригинале — V_E.

3

Так в оригинале. Возможно, следует читать — города — V_E.

Так в оригинале — V_E.

5

В оригинале — дженри — V_E.

6

Любопытно сопоставить эту оценку с современными публикациями, размещенными в интернете. Их не очень много, но деятельность Остроумова всячески превозносится, правда, о тех результатах, о которых говорится в книге Окунева, в них нет упоминаний. Не давая оценки качества и степени достоверности имеющихся в интернете изданий (для этого требуется самостоятельный комплекс работ), приведем несколько ссылок: http://www.e-reading.club/chapter.php/143551/18/Melihov_-_Belyii_Harbin_Seredina_20-h.html . Упоминание об аресте Остроумова имеется на ресурсе, названном "Объединённые сайти Сибирского Рериховского общества/ Качество и достоверность ресурса и материалов мы также не оцениваем: http://sibro.ru/teacher/books/840/26005 — V_E.

Такое написание в оригинале — V_E.

Так в оригинале — V_E.

Так в оригинале — V_E.

Такой содержался в Контракте на постройку и эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги, подписанном в Берлине 27 августа 1896 г. (по старому стилю). В частности, п. 12 контракта гласил: "Китайское правительство передает Обществу полное и исключительное право эксплоатации линии за его собственный счет и риск с тем, что китайское правительство ни в коем случае не является ответственным за какой-либо дефицит Общества на время постройки и затем еще в течение 80 лет с того времени, когда линия будет окончена и по ней будет открыто движение. По прошествии этого срока линия со всем относящимся к ней перейдет бесплатно к китайскому правительству.

По прошествии 36 лет со времени окончания сооружения всей линии и открытия по ней движения китайское правительство имеет право выкупить эту линию, возместив полностью все затраченные капиталы и все сделанные для означенной линии долги с наросшими процентами.

Если чистая прибыль превысит дивиденд, назначенный акционерам, и часть означенных капиталов и т.д. будет погашена, то на эту часть будет уменьшена выкупная стоимость.

Ни в коем случае китайское правительство не может вступить во владение этой линией ранее, чем соответствующая сумма будет внесена в Русский государственный банк..." Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/kvgd.htm

11

Так в оригинале — V_E.

12

Так в оригинале — V_E.